

ИСТОРИЧЕСКІЕ  
РАЗСКАЗЫ И БЮГРАФІИ

ДЛЯ  
ВЗРОСЛЫХЪ ДѢТЕЙ.

А. РАЗИНА.  
I

Исторические рассказы и биографии //Издание т-ва М. О. Вольфъ, Санкт-Петербург, 1860  
FB2: "a53 ", 27-12-2020, version 1  
UUID: 90DB24B7-E94E-4389-97E3-A24A078B6D18  
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Алексей Егорович Разин

# Исторические рассказы и биографии

Сборник исторических рассказов и биографий выдающихся личностей для детей старшего возраста. Сочинение Алексея Егоровича Разина (1823–1875), известного детского писателя, журналиста и популяризатора науки.

# Содержание

I БУДДА . . . . .	0006
II СААДИ Персидский поэт . . . . .	0031
III ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ . . . . .	0049
IV ЛЕОНАРДО ВИНЧИ . . . . .	0093
V ОЛИМПИА ФУЛЬВИЯ МОРАТА Картина нравов XVI столетия . . . . .	0116
VI УИЛЬЯМ ШЕКСПИР . . . . .	0136
VII ОСАДА ТРОИЦКОГО СЕРГИЕВА МОНАСТЫРЯ (от 23 сент. 1608 до 12 янв. 1610 г.) . . . . .	0147
VIII ЧТО БЫЛО В 1703 ГОДУ НА ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ ТЕПЕРЬ ПЕТЕРБУРГ . . . . .	0180
IX ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПЕТЕРБУРГА ПРИ ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ . . . . .	0204
X КЮВЬЕ Очерк его жизни и трудов . . . . .	0230
XI АРАГО . . . . .	0259
XII ОДЮБОН . . . . .	0282
XIII ФРАНКЛИН Его гибель и попытки отыскать его . . . . .	0310
XIV ДЖОН ТЕННЕР . . . . .	0318
XV ПОСЛЕДНИЙ ИСПАНСКИЙ ПРЕДВОДИТЕЛЬ В АРАУКО . . . . .	0353
XVI СТЕФАН ЖИРАРД . . . . .	0368

ИСТОРИЧЕСКІЕ  
РАЗСКАЗЫ И БІОГРАФІИ.

ЧТЕНІЕ ДЯ ДѢТЕЙ СТАРШАГО ВОЗРАСТА.

А. РАЗИНА.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ИЗДАНИЕ КНИГОПРОДАВЦА И ТИПОГРАФА ШВАБРИНА ОСИПОВИЧА ВОЛЬФА,  
въ Гостиномъ Дворѣ № 18 и 19.

—  
1860.

# Алексей Разин ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ И БИОГРАФИИ

*ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ*

*С тем, чтобы по отпечатании пред-  
ставлено было в*

*Цензурный Комитет узаконенное чис-  
ло экземпляров.*

*С. Петербург, 28 октября 1859 года.*

*Цензор Палаузов*

# I БУДДА

**Ж**аркий климат Индии и жизнь, роскошно кипящая в тамошней природе, располагают индийца к бездействию, а легкость, с какою удовлетворяется там голод и жажда, оставляет человеку много времени на размышление. Природа навела там человека на странные мысли. Человек нигде не видел счастья и прочности: у него на глазах все изменялось, все жило и все страдало. На месте рухнувшего векового дерева, являются тысячи новых растений; брошенный в поле труп покрывается другими животными, которые тут же и рождаются, и умирают. Под тихой поверхностью озера, или болота, копошатся гады и рыбы огромных размеров, пожирают друг друга, плодятся, умирают и снова возрождаются. Все превращается одно в другое, все продолжает существовать, изменяя одни только формы. «Что же со мною будет после смерти?» — думал индиец-мечтатель, и чудные сны виделись ему наяву.

Мерещится ему, будто он живет, вечно живет; он почти помнит, как ползал ящерицею, летал орлом, цвел лотосом. Вот еще недавно он рос стройным деревом; птицы весело чиркали в его листве; путник отдыхал под его тенью; в дупле копошилась белка. Он всем давал приют, все делал, что только мог сделать. Срубили его, и он переродился проворной мышью и забегал по рисовому полю. У него — норка. Он весело подбирает упавшие колосья и носит их своему семейству.

Филин заклевал мышь, и вот в дремучем лесу закачалась и запрыгала на ветвях смышленная обезьяна. Далее, далее несутся мечты индийца: он видит себя то очковою змеею, то буйволом, то слоном и простодушно верит грезам воображения, которое развертывает перед ним бесконечную картину перерождений. Эти-то грезы юного, неопытного человечества целиком вошли в одну из древнейших религий: брахманизм.

Всемогущий, говорят брахманские священные книги, создал из своих уст Брахмана, из руки — Кшатрия, из бедра Вайсья и из ноги — Судра. От них произошли четыре касты. Пер-

вая, Брахманы, были жрецами. Они одни имели право читать священные книги, совершать богослужение, заниматься науками и искусствами. Как самые образованные люди, брахманы скоро получили большое влияние на все гражданские и государственные дела, воспользовались этим и держали в руках остальные три касты. Князьями в Индии были Кшатрии; но их окружали министры и правители из брахманов, которые могли делать с народом, что угодно, не допуская его до владетеля. Остальные две касты были: Вайсья — купцы и земледельцы и Судра — ремесленники. Переход из одной касты в другую был строго запрещен, до того, что даже Вайсья не мог жениться на дочери Кшатрия, Брахман на Судра. Нарушившие этот закон изгонялись из общества и составляли особенные, нечистые касты.

Индийцы были большие охотники до великолепных праздников, и праздники эти редко обходились без крови. Так, на некоторых, народ бросался под ноги слонов, впряженных в колесницу, на которой везли идолов и погибал, раздавленный этими огромны-



ми животными. Брахманизм требовал совершенного презрения к телу и к физическим страданиям.

Вдова должна была живою броситься в костер, на котором сжигался труп ее мужа. Отшельники стегали свое обнаженное тело плетьюми, валялись в колючих растениях, стояли по несколько лет на одном месте, в одном положении. До сих пор в индийских лесах встречаются факиры; так называются эти отшельники, у которых руки высохли от того, что несколько лет оставались в одном положении, ногти вросли в тело, кожа растрескалась. Под конец такой страдальческой жизни факир связывает пук соломы, бросает его в Ганг, священную реку индийцев, садится на него и плывет по течению в море, где погибает с голоду, или утопает от усталости.

Так как просвещение и религия, хотя и ложная, были достоянием только немногих счастливых, браминов, то все остальные касты, народ, страдал, но твердо держался веры своих предков. Отшельники, непросвещенные светом истинной веры, позволяли себе думать о том, как сотворен мир; в каких он

отношениях к богам, что будет с материей по разрушении мира, или с душой по смерти человека. Индия спала крепким сном, пока не родился человек, всколебавший всю Азию. Индия встрепенулась на минуту и снова заснула. Человек этот был сын Суддоданы, царевич Сиддарта.

Он родился лет за 600 до Рождества Христова, когда в Северной Индии было два сильные государства: Косала, от верховьев Ганга до Бенареса, и Магада, от Бенареса до моря. В Косале, главным городом которой был Капилавасту, царствовал Суддодана. Сын его, Сиддарта, наследник Косальского престола, покинул отцовский дом и скрылся. Все поиски были напрасны. Носились только слухи, что он скитался близ восточной границы Косалы и искал наставника: царевич променял царство на отшельничество. Буддийские предания говорят, что «будучи одарен от природы душой мягкой и восприимчивой, и сочувствуя горестной доле, на какую осужден человек, под тягостным законом смерти, болезней, старости и житейских страданий, Сиддарта увлекся печальным настроением своих мыслей, и

по примеру других мудрецов, покидавших мир по тем же самым побуждениям, решился искать себе успокоения в уединении, и спасения от бедствий в отшельнической жизни». Может быть, это и правда: но вероятно также и то, что новый отшельник видел непрочность своего будущего престола от покушений соседней Магады, стремившейся завладеть Косалою.

Отшельничество было тогда в большом уважении. Анахореты размножились по всей Индии и главным притоном их была страна Раджагриха, государь которой, Бимбасара, им покровительствовал. Они бродили по деревням, где питались подаянием благочестивых людей, скрывались в лесах, размышляли о тайне существования мира и человека, о страданиях и освобождении от них.

Они делились на разные секты и проводили время или в созерцании, или в спорах.

Покинув Капилавасту, Сиддарта, не знал какой род отшельнической жизни придется ему по нраву, набрел на тружеников, живших в ущельях горы Гридракуты, близ Раджагрихи, и присоединился к ним.

Целых шесть лет изнурял царевич свое тело самыми жестокими средствами. Он по суткам стоял на солнце, натирался золою, морил себя голодом и убивал в себе все духовные и нравственные чувства; но он не мог убить в себе тайного тщеславия; кроме того, его занимали тогдашние современные вопросы о цели переселения душ, об избавлении от страданий, связанных со всяким существованием и, так как Гридракутские труженики вовсе не занимались исследованием этих задач, то Сиддарта скучал их образом жизни и нестрого исполнял их правила. Они заставили его удалиться.

Недалеко от Раджагрихи, по берегам реки Нираньджаны, жили созерцатели. Самые замечательные из них были Удракарама и Арадакалама. Они не считали физический труд необходимою принадлежностью отшельничества; все их занятие состояло в приведении души к невозмутимому спокойствию. Бесстрастие, к которому они стремились, до сих пор составляет главную цель индийских пустынных.

Шесть лет предавался Сиддарта самосозер-

цаниям, и, как видно, они ему понравились больше противоестественных истязаний своего тела. Погружаясь в самого себя, он старался усмирить душу, освободиться от влияния чувств и мыслей, нарушающих ее спокойствие, и таким образом достигнуть совершенного бесстрастия. Но как у тружеников Сиддарта не мог заглушить в себе потребности мыслить, так и у созерцателей не удовлетворился его беспокойный ум. «Неужели, — думал царевич, — душа моя не изменяется от постоянного мышленья? Неужели, постигая природу, я не сливаюсь с нею, и от этого не прекращается личное мое существование?» Арадакалама и Удракарама не могли дать ему ответа на эти вопросы, как потому, что они были противны брахманизму, так и потому, что противоречили их собственному учению.

Сиддарта ушел от них. В окрестностях Гайи, города, лежавшего верстах в двух от Раджагрихи, предался он размышлению. Теперь у него не было руководителей; он сам решил разгадать действительное значение предметов, тайну страданий, удручающих человека, и найти верное средство к освобождению

от них. Теперь он уже не был более учеником; он готовился быть учителем и чрез несколько времени отправился в Бенарес. Там, убежденный в верности своих открытий, попробовал он испытать силу своего красноречия на некоторых родственниках. Но они его осмеяли. У Сиддарты еще не было ни известности, ни последователей, ни даже лет соответствующих важности мудреца, каким он хотел казаться. Тут он понял, что еще много не достаёт ему для успешного распространения своего учения, и воротился на берега Нираньджаны. Там жил один из знаменитейших в свое время отшельников Урувилва Касьяпа. Урувилва Касьяпа, у которого было множество учеников, принадлежал к особой брахманской секте, поклонявшейся огню и небесным светилам. Утром он поклонялся восходящему солнцу, днем сжигал на жертвенниках заколотых животных и благовония, ночью разводил огонь на жертвенниках и зажигал лампы. Огни были неугасаемы. Неподалеку от него жили его два младшие брата Гайя Касьяпа и Нади Касьяпа с своими учениками. Но Урувилва Касьяпа был главою их и прочих

пустынников той же секты.

Пропасть народу собиралось сюда на поклонение огню и здесь же поселился Сиддхарта.

Не смотря на холодный прием Урувалвы, он мало-помалу вошел в его доверенность; старался кротко разрушить его прежние верования и заменить их выводами своих созерцательных исследований; услуживал ему сколько мог и, через шесть лет, глава огнепоклонников со всеми своими учениками и обоими братьями сделался последователем Сиддарты, который с тех пор принял имя Будды (пробудившегося).

Ученье Будды стало распространяться по всей Индии. Оно переходило из уст в уста людей всех каст и всех сословий и поражало удивлением толпу, привыкшую слушать только гимны Вед (священных книг), да рассказы о чудесах богов и героев. «Что это за сладкие песни поете вы?» — спрашивала толпа. «Это не песни; это собственные слова Будды,» — отвечали ей задумчивые люди, одетые нищими. Они читали вслух гимны и молитвы *«ведущие на тот берег»* т. е. освобождаю-

щие душу от перерождений, погружением ее в уничтожение, и повсюду разносили славу своего учителя Будды.

Будда поселился с своими учениками в Раджатрихе. Бимбасара, который любил, чтобы отшельники жили около его столицы, ласково принял Будду и позволил ему выбрать себе место. Один вельможа Анатаниндада, видя благосклонность государя к новопришедшим мыслителям, подарил им свой загородный сад, бамбуковую рощу, которая называлась Калантакою по имени птиц Каланта, которые там во множестве водились.

Там поселились Бикшу, (нищие, Буддисты) и оттуда новая религия стала распространяться по всей Азии.

Будда был Шраман; так он сам себя называл и так его называли другие. Шраман собственно значит отшельник, а отшельниками могли быть не только брахманы, но также Кшатрии, Вайсья и Судра. Они давали обет никогда не изменят принятого ими образа жизни и брили себе голову. Впоследствии это названье и бритье головы стало принадлежать исключительно Буддистам. Кроме имен



Будды и Шрамана, Сиддарта носил еще прозвание Сакъямуни, по своему происхождению от народа Сакъя, и Гаутама, имя Касальской династии, к которой он принадлежал, как царевич.

Учение Будды состояло вот в чем:

— Все что существует, — страдает, — говорил он, — оттого, что дух подавляется телом. Дух борется с телом, в котором он заключен, побеждает его, или падает. В первом случае, он, по смерти переходит в существо высшее того, в котором он был, во втором — в низшее. Человек стоит на границе двух миров: мира духов и мира бессловесных животных. От него зависит, в каком мире переродиться. Чем больше предается он чувственным наслаждениям, чем больше подчиняется своему телу, тем труднее ему перейти в мир духов. Но и в мире духов он не будет счастлив. Духи существуют, следовательно, страдают. У них тоже есть тело, хотя не столь грубое, как наше, но все же тело, с которым нужно бороться, которое нужно победить.

Мир духов, как мир бессловесных, делится на несколько разрядов. Один совершеннее

другого. Дойдя до последнего ряда, дух начинает понимать тайну и цель существования мира и учит низших духов. Потом он сходит на землю в виде человека. Рождается от лучшего из земных племен, в лучшем семействе, от добродетельнейших родителей, и окончательно понимает сущность духа и материи, добра и зла, рождения и смерти. С этой минуты он делается Буддой, учит людей добру, открывает им цель их существования, умирает и погружается в Нирвану, т. е. в успокоение, в ничтожество, в уничтожение. Он перестает существовать и это-то прекращение существования есть цель жизни буддиста.

Так заблуждались язычники, непросвященные светом Божественного Откровения! Так силились они постигнуть то, чего ум человеческий никогда не может без Откровения постигнуть!

Будд было много; после последнего из них, т. е. Сакъямуни, должен явиться Майтрея. Он восстановит истинную веру, облегчит путь к Нирвану и уничтожится. Тибетцы, монголы, и другие буддисты ждут его и надеются услышать слово будущего Блаженного. У них уже

составились описания, по которым можно будет его узнать.

Новое учение стало быстро распространяться по окрестным странам. В Индии его гнали: оно слишком резко противоречило брахманизму. Хотя оба вероисповедания и допускают переселение душ, но основания этого переселения различны. У Брахманов боже-ство для поддержания религии нисходит на землю и превращается в человека, или животное; у буддистов сам человек может делаться, не только богом, но даже Буддою, существованья которого брахманы не признают. Буддисты говорят, что материя безначальна, и находится в вечном спокойствии, а брахманы — что ее создал Бог и что сам он неусыпно заботится об ней. Жрецом у Буддистов может быть всякий, и у них нет даже разделения на касты, что, разумеется, подрывало все основание брахманизма и могущество брахманов.

По смерти Сакьямуни ученики его разбрелись по всей Индии и всюду разнесли его учение. Потом, гонимые из своего отечества, они убежали в Индокитай, Тибет и Туркестан. Та-

мошние язычники приняли новую веру, которую им проповедывали индийцы, примешали к ней свои прежние верованья и, уже в искаженном виде, передали ее другим народам. Теперь буддизм исповедуется в большей половине Азии. Татары внесли его в Китай, где он известен под именем религии Фо (Будды); но, когда Аравитяне стали распространять исламизм, они принуждены были сделаться магометанами. Из Китая буддизм проник в Японию, и в китайских летописях есть указания, что усердные последователи Сиддарты распространяли его даже в Америке. Впрочем он там, как видно, не имел большого успеха.

Буддисты есть и в России: это волжские и алтайские калмыки, и буряты в Западной Сибири.

Будду они знают только по имени, да и считают его уже каким-то полубогом. Дух ученья забыт, а осталась одна только форма. Так, буддийское выражение: *вертеть колесо веры* т. е. заниматься самоусовершенствованием и побуждать к тому других, теперь приняло другой смысл. У них есть легенда, что ученик Будды Авалокитесвара, первый внес в Тибет

образованность и буддизм. Авалокитесвара является сидящим на лотосе. Так как он покровитель Тибета, Монголии и всех монголов, и его нужно чествовать, то и сочинена молитва: «Ом-мани-падмэ-хум!» т. е. «О, драгоценность на лотосе!» Теперь тибетцы, монголы и калмыки, обращают колесо веры, т. е. делают богоугодные дела, таким образом, что беспрестанно повторяют: ом-мани-падмэ-хум! ом-мани-падмэ-хум! И этим надеются заслужить себе лучшее перерождение. Но этого еще мало. Можно устать, беспрестанно вертя на словах колесо веры, и они придумали облегчение.

Делается цилиндр, который кругом испи-сан этой молитвою и даже внутри начинен бумажками с надписью: ом-мани-падмэ-хум. Он вертится на оси руками, или ветром, при помощи маленьких крыльев, как ветряная мельница. Около кибиток, на холмах, везде, куда только можно сунуть такой цилиндр, везде вертится колесо веры и несется к небу молитва. Смешно и жалко.

На языках санскритском, тибетском и монгольском есть много любопытных фантасти-

ческих рассказов о Будде, богах и духах. Почти все они начинаются тем, что Будда сидит с своими учениками (бикшу), и они предлагают ему вопросы. Главным из таких вопрошателей был его любимый ученик Ананда. Вот два из этих рассказов в переводе с тибетского языка.

## **О царе Шудтолаггари**

Я однажды слышал: около города Раджагриха, в бамбуковой роще Калантака, сидел Сакьямуни.

Ананда поднялся с своего места, оправил платье и шапку, стал на колени, сложил руки и спросил Блаженнейшего:

«Блаженнейший, поведай причину: отчего пять бикшу, Гаудинья и его товарищи, непосредственно вслед за тобою вертят миру колесо учения и питаются напитками бессмертия?»

Блаженнейший сказал на это Ананде:

«Прежде эти пять бикшу спаслись тем, что первые насытились моим телом; потому и теперь им первым надлежит питаться напитком бессмертного учения».

Была опять просьба Ананды Блаженней-

шему:

«Поведай, Блаженнейший, что же такое сделали эти пять бикшу?»

И сказал Блаженнейший Ананде:

— В глубокой древности, многое множество лет тому назад, такое множество лет, что ум не может вместит числа их, царствовал в Джамбудвите (в Индии) царь по имени Шудтолагари. Восемьдесят четыре тысячи князей повиновалось ему.

И вот объявили предсказатели, что целых двенадцать лет не будет дождя.

Опечалился царь, услыша такую весть, и подумал: «Откуда-то возьмут люди пищу, когда настанет такой долгий голод!»

Собрал он на совет вельмож и подвластных князей, и вычислили они, что в двенадцать лет, изо всего хлеба, запасенного в житницах, неостанет и по горсти на человека.

Настал голод и много людей умирало.

«Что мне делать, чтобы спасти жизнь стольких людей?» — подумал царь и пошел в сад с своими женами и вельможами. Там, когда жены и прочие его спутники заснули, встал он, поклонился на все четыре стороны

и мужественно произнес такое заклятие: «Так как в Джамбудвите голод, и нет у народа пищи, то сбрасываю я с себя нынешнее мое тело! Пусть же, переменя жизнь, превращусь я в такую огромную рыбу, что насытятся все, которые будут питаться моим телом!»

Потом он взлез на дерево, бросился с него, и разбился.

И вот Шудтолаггари превратился в рыбу длиною в пятьсот миль (4000 верст) и протянулся вдоль берега.

Подошли к берегу за дровами пять дровосеков и увидели огромную рыбу, которая сказала им человеческим голосом:

«Если вы голодны, отрежьте у меня мяса, сколько хотите, ешьте и насыщайтесь; а когда насытитесь, то и домой снесите, сколько можете! Когда я превращусь в Будду, то вам первым дам насытиться пищей учения. Также всем голодным скажите, что они могут питаться моим мясом, сколько хотят».

Тогда пять дровосеков отрезали у рыбы мяса, насытились и дали знать по всей окрестности о появлении рыбы. Весть переходила от одного к другому, и скоро все жители



Джамбудвиты собрались резать и есть мясо.

Потому, когда один бок был совершенно истерзан, рыба перевернулась на другой, а когда и другой сели, то легла на спину. По прошествии двенадцати лет, когда и спина и грудь были вырезаны, рыба сделалась предметом общей любви и почтения, а все питавшиеся ею переродились богами.

О Ананда! Царь того времени, превратившийся в рыбу, был я. Пять дровосеков, которые первые отрезали и ели мое мясо, теперь Гаудинья с товарищами. Прочие, питавшиеся мною, теперь боги, мои последователи.

И как тогда этим пятерым первым спас я жизнь, так и теперь им первым показал учение, телом которого погасил в них огонь трех ядов.

Ананда и все собрание радовалось и благоговело пред этим учением.

## **О золотых кувшинках**

Вот что я слышал однажды.

Блаженнейший учил в Шравастии, в саду царевича Джалджеда, где бедным раздавалась пища.

Пришли бикшу с летнего созерцательного

подвижничества и собрались около него.

Блаженнейший, долго не выдавший своих бикшу, вспомнил об них с любовью, поднял руку, на которой виднелось колесо о тысяче спицах, и, оказывая им честь и уважение спросил:

«Не были ли больны вы? Не нуждались ли в пище?» Бикшу Ананда, удивленный таким вниманием и честью, спросил Блаженнейшего:

«Как могло статься, что блаженнейший владыка мира, заслуги и преимущества которого неизмеримы, мудрость которого нельзя объять мыслью, оказывает такое почтение и внимание бикшу?»

И сказал на это Сакъямуни Ананде:

— Давным-давно, за многое множество умом неизмеримо-бесчисленных периодов существования мира, в Джамбудвите (в Индии), в городе Бенаресе, некто хороший домовод, большой знаток в сельском хозяйстве, променял все свое имущество на золото, вылил из золота кувшин и закопал его в землю. Потом все, что ни наживал, превращал в золото, которое не тратил, а переделывал в кув-

шины и зарывал. Набралось семь кувшинов. Домовод захворал, умер, но за свою привязанность к золотым кувшинам переродился в ядовитую змею и стал стеречь их. Меж тем город, где он жил, пустел и разваливался. Через несколько лет умерла змея, но опять переродилась в то же тело, и опять стала стеречь золото.

Прошло много десятков тысяч лет, пока змее, которая все перерождалась таким образом, не опротивело это состояние и не начала она думать:

«За мою страсть к золоту должна я жить в таком гадком теле; не лучше ли будет, если я брошу его на поле добрых дел?» С такими мыслями подползла она к дороге и спряталась в густой траве, чтобы позвать прохожего. Скоро заметила она человека и стала его кликать. Человек услышал голос, поглядел вокруг себя и, никого не видя, пошел было дальше; но змея закричала:

«Эй, поди сюда!»

«Зачем ты зовешь меня? — сказал человек — ты ядовита и хочешь меня ужалить».

«Я бы могла это сделать и не подзывая те-

бя,» — возразила змея.

Человек со страхом подошел к ней, и она сказала:

«У меня есть здесь золотой кувшин; могу ли я доверить его тебе, чтобы употребить его на доброе дело? Убью, если не сделаешь».

Человек согласился, и змея, подведя его к золотым кувшинам, вручила ему один из них и сказала:

«Возьми это золото и сделай на него пир для нищих; когда же все будет готово, то приходи за мною; я хочу быть там». Человек взял золото, отправился к нищим, отдал его одному бикшу, заведывающему хозяйством, и сказал: это золото принадлежит ядовитой змее; она хочет сделать пир для нищих.

Бикшу стал все готовить для пира и назначил день в который человек взял короб и отправился туда, где жила змея.

Обрадовалась змея, как увидела приближение человека, который положил ее в короб и понес.

По дороге встретил он другого человека, который его спросил:

«Куда ты идешь?»

Так как носильщик змеи не отвечал на этот, три раза повторенный вопрос, то змея опечалилась и в гневе хотела его ужалить; но опомнилась и подумала: «Человек этот делает мне доброе дело; я должна быть благодарна за это и потому не смею его жалить; он трудится для моего блага и для моей пользы: я должна терпеливо снести его несправедливость».

Пришли они в уединенное место, и змея сказала: «Пусти меня на землю». Тут она дала ему выговор, и он, смирясь, сказал: «Сознаю свою несправедливость» — и понес дальше. Они подошли к жилищу бикшу, в то самое время, как нищие садились за стол.

Змея задумчиво смотрела на пир голодных людей и так была рада это видеть, что подарила нищим остальные шесть золотых кувшинов.

Совершив такую заслугу, змея переменяла жизнь и переродилась в бикшу.

О, Ананда! Человек, который тогда носил змею, был я! Змея же — теперь бикшу Шарипутра.

Как прежде отдал я ей честь за упрек, ка-

кой она мне сделала, так и теперь отдаю я честь сонму бикшу.

Ананда и все собрание радовалось словам Блаженнейшего.

Так блуждает во тьме неведения разум человеческий, не просветленный истинным учением. Божественное начало души человеческой заметно в этих ребяческих попытках объяснить себе истинное значение человека на земле; но без откровения все это так и должно остаться попытками; потому что истина — только в Слове Божиим.



## II СААДИ Персидский поэт

**У** народов, которые вообще называются восточными, хотя для нас они и южные, у турок, персов и аравитян, поэтические произведения — не похожи на наши. У нас иное поэтическое сочинение производит на нашу душу только свежее, живое впечатление подобно прогулке за городом, в лесу, в хорошую погоду, весеннею порою. Для нас уж довольно такого живого, освежающего душу впечатления; оно действует благотельно, как загородная прогулка, и потому уже нравственно.

Очень многие из южных поэтов не довольствуются этим. У южных жителей, погрязших во мраке магометанства, душа не приготовлена, как у нас, наслаждаться тонкими красотами. Да и жаркий климат их, расслабляя тело, приучает их к жизни ленивой, сонной, к бездействию, от которого засыпает и душа. Чтобы разбудить ее, чтобы шевельнуть в ней живые струны добра — мало простого, ясного

взгляда на природу, мало — благотворной мысли, какую наш поэт заронит, будто мимоходом, нечаянно в нашу душу. У нас эта мысль созреет, разовьется, а южному человеку нужно ее растолковать, чтоб она ясна была, как день. Оттого-то нам и кажутся иногда лишними нравоучения в прекрасных баснях дедушки Крылова.

В басни, которые у нас сами по себе очень ясны, нравоучение попало от восточных писателей. Езоп, греческий баснописец, заимствовал с востока многие свои басни вместе с нравоучениями, а после него вся Европа не могла отделаться от этой формы басен, вовсе ненужной для европейского человека.

В доказательство того, как восточному поэту трудно обойтись без нравоучения, можно привести любимого персидского поэта Саади. Он писал в XIII столетии после Р. Х., однако же его сочинения и до сих пор читаются в Персии с большим удовольствием. Мослехеддин Саади родился в Ширасе около 1193 года, а учился в Багдаде, в училище, которое было основано Низам Эльмульком. Учителем Саади был знаменитый ученый Софи Абд-эль-Кадир,



с которым вместе поэт ходил на поклонение в Мекку. Говорят, что после того Саади еще тринадцать раз делал это путешествие, тогда как, по закону, всякому благочестивому мусульманину довольно раз побывать в Мекке.

Саади провел тридцать лет в ученых занятиях, тридцать лет путешествовал и тридцать лет прожил в уединении, делая добро. Он был так благочестив, по своим магометанским понятиям, что пошел сражаться с христианами, и вообще с немагометанами. Сражался в Индии, Малой Азии, и во время похода в Сирию был взят в плен крестоносцами. Его заставили, вместе с другими пленными, копать крепостные рвы. Один богатый вельможа выкупил его за десять золотых монет и освободил таким образом от изнурительной работы. После того Саади женился на дочери этого вельможи; брак его был очень несчастлив; по крайней мере Саади сам рассказывает об этом в своем сочинении, которое называется Гюлистан, что значит Розовый Сад, или Сад Роз.

В последние годы своей жизни Саади построил себе у города Шираса уединенный до-

мик и прожил в нем до конца своей жизни, делая добро и, как он сам говорит, стараясь постигнуть Бога. Знаменитые вельможи навещали его в уединении, дарили ему деньги, но он брал из них себе столько, сколько было необходимо для его пропитания, а остальное раздавал бедным.

Умер он в 1291 году; его гробница уцелела до сих пор, хотя на месте его дома стоит уже третий или, может быть, четвертый дом.

Саади особенно знаменит двумя сочинениями: Бостан (Цветник) и Гюлистан (Розовый Сад). В Гюлистане нет никакого описания розового сада; все сочинение состоит из отдельных частей, набросанных без большого порядка, без системы. Эти отдельные части, все очень нравоучительные, и называются у него Розами; а так как их очень много, то и выходит целый Сад.

Вот отрывки, по которым можно составить себе некоторое понятие о Гюлистане; надо заметить только, что народ, для которого писал Саади, привык к выражениям, какие для нас кажутся неприличными, и потому переводить его слово в слово невозможно.

Толпа молодых шалунов сильно оскорбила одного дервиша. Он пошел к своему старшине и горько жаловался на обиду. «Как, мой сын! — отвечал старшина — ты носишь на себе одежду милости и терпения! Кто в ней не может вынести обиды, не достоин носить этой одежды. Камень, брошенный в море, не возмутит его поверхности, а брось его в лужу — забурлит и всплывет вся грязь и все поддонки. Эта лужа — эмблема того, кто злится за обиду. Если с тобой случится беда, умей перенести ее, потому что простить проступок ближнего — самое верное средство искупить свои грехи. О, мой сын! Старайся заранее быть смиренным человеком; ведь, когда-нибудь ты будешь смиреннее всего, что ни есть живого на свете — истлеешь в земле».

Один человек оставил общество дервишей и перешел в общество мудрецов. «Какая разница, — спросил я, — между дервишем и мудрецом?» — Он отвечал мне: «Оба они плывут по большой реке вместе с своими братьями. Дервиш удаляется от них, чтоб ему покойнее

было плыть, и выходит на берег; а мудрый не оставляет их и протягивает им руку».

### III

У одного мужа умерла жена, необычайная красавица, которую муж очень любил. Но с ним осталась жить мать жены, сварливая старуха, которой он терпеть не мог; а делать было нечего; потому что в брачном контракте было определено, что по смерти дочери мать остается у мужа. Друг этого несчастного спросил у него, как он может переносить такое ужасное горе, смерть жены? — «Это правда, — отвечал он, — горе мучит меня; я не вижу своей жены, зато вижу ее мать. Роза сорвана, зато шип остался у меня; сокровище у меня отняли, зато оставили змея, который берет его». Лезвие сабли ранит не так сильно как вид нелюбимого человека; чтоб избежать этой муки, можно пожертвовать самой искренней дружбой[1].

### IV

Мудрец, который ведет безнравственную жизнь, похож на слепого, который ходит с факелом, освещает других, а сам ничего не видит.

## V

Два рода людей работают без всякой пользы: те которые собирают много денег и не пользуются ими, а прячут в сундук, и те, которые изучают нравственные начала, а живут безнравственно. Наука бесполезна, если от нее человек не делается лучше. Профессор мудрости — сумасшедший, если он действует глупо. Осел, нагруженный книгами, никогда не будет ученым. Он не знает даже, что он несет книги; может быть, они кажутся ему дровами.

## VI

У одного богача было много детей; все они были чудно хороши и сложены прекрасно, исключая одного, который был карлик, и очень безобразен. Отец не мог смотреть на этого сына без отвращения. А молодой человек был очень умен, заметил это и сказал отцу: «О, мой отец! Карлик, хорошо образованный, лучше великана, который ничего не знает. Не по огромности, а по ценности надо судить о вещах. Овцу все любят за опрятность; слон всегда грязен. Синай небольшая гора, а сколько на ней Бог сделал чудес!» Отец улыбнулся,

гости захлопали в ладоши, но страшная ненависть родилась в сердцах братьев.

Пока человек молчит и не действует, его добродетель погребена. Не презирайте никого за наружность, потому что в самой маленькой частичке лесу, может быть скрывается лев, или тигр.

Одному мудрецу предложили вопрос, что лучше, сила или милосердие? — «Кто милосерд, тот не нуждается в силе,» — отвечал тот.

На гробнице Бакарран-гура вырезана надпись: «Рука милосердия сильнее могучей руки». Хатами-Тай был самый милосердый человек; правда, что он умер, зато память о нем живет в сердцах всех, кто ему сочувствует.

Один дервиш был очень беден, ходил в лохмотьях и сам зашивал их. Он утешал себя песней: «Я живу на хлебе, да на воде, нечем мне прикрыть своего тела; но я доволен; гораздо легче переносить лишения, нежели одолжения».

Наступила война. В первом сражении молодой карлик прежде всех пустил свою лошадь в самую середину неприятельского войска. «О, мой отец! — воскликнул он, — не бой-

ся, чтобы я оказался трусом; ты увидишь меня залитым кровью врагов и покрытым пылью. Война — страшная игра; за нее платят кровью». Говоря это, он страшно дрался и поражал самых храбрых воинов. Возвратясь к отцу он стал на колени и поцеловал его руку. «Ты видишь перед собой, — сказал он, — своего урода, обиженного природой. Он доказал, что не масса тела составляет храбрость. В день битвы надо коня, хоть небольшого, да быстрого, поворотливого, а не тяжелого быка».

Завязался новый бой. Неприятельское войско было вдвое сильнее, а войско, в котором был карлик стало отступать. Вдруг он явился перед рядами и произнес такую речь: «Если вы в самом деле люди, идите в битву со мною: а то бегством своим вы заставите думать, что под вашим платьем не мужчины, а женщины». Одушевленные этою речью, воины полетели на драку и разбили неприятеля. Обрадованный царь целует карлика в лоб; очарованный отец целует в уста своего сына, и любит его с каждым днем больше и больше.

Завистливые братья, сердятся на брата и

решаются его отравить; они подлили яду в кушанье, для него приготовленное. Но его сестра видела все это, и чтобы как-нибудь уведомить брата об опасности, сильно хлопнула дверью. Брат понял этот знак и ничего не ел. «Людам с добрым сердцем не следует умирать и уступить свое место подлецам. Когда есть орел, то какая из птиц обратится с просьбой о защите к сове?»

Отец узнал о злом умысле и разослал сыновей в дальние края земли.

Мудрецы справедливо говорят, что десять нищих могут заснуть в одной постели, а два хозяина в самом обширном доме никогда не уживутся[2].

## VII

Мудрец избегает всех крайностей. Молодой человек просил отца, чтобы тот дал ему совет, плод глубокой его мудрости. «Мой сын, — отвечал отец, — будь добр, но берегись, чтобы тигр не показал тебе своих зубов».

## VIII

Три вещи не могут существовать без трех других: богатство без торговли, наука без уче-



нья, государство без управления.

## IX

Излишняя строгость производит ненависть. Излишнее снисхождение уничтожает власть. Умей найти середину, и никогда не испытывай ни презрения, ни оскорблений. Надо подражать хирургу: когда нужно, он прижигает рану каленым железом, а иногда льет в нее ароматный бальзам и прикладывает смягчительные мази.

## X

На войне, когда неприятельское войско разойдется и начнутся в нем ссоры, будь спокоен. Страх является, когда враги соберутся и готовы к битве. Действуй сообразно с этим: когда они разойдутся, предавайся наслаждениям; сойдутся — натягивай свой лук и заботься о защите своего дома.

## XI

Никогда не приноси другу какой-нибудь ужасной вести, которая испугает его; пускай другие скажут ему эту новость. А ты, как соловей, извещай только о весне и любви и не подражай сове: крик ее ночью предвещает одно ненастье.

## XII

Кто дает совет человеку, глубоко понимающему самого себя, тот сам нуждается в совете.

## XIII

Истратить все силы души своей на приобретение сокровищ — также глупо, как продать Иосифа и закупить себе игрушки.

## XIV

Часто осторожная медленность в делах приводит их к концу вернее бесполезной торопливости. Самый лучший конь скорее ветра мчится по степи аравийской и падает от усталости; а верблюды не торопясь, медленно проходят ту же самую пустыню и являются в назначенное место.

## XV

Подлые люди клеветают на людей с добрым сердцем. Они похожи на кухонных собак, которые, увидя охотничью собаку, начинают лаять изо всей мочи, и на всей улице кухонные собаки повторяют их лай.

## XVI

Не довольно иметь прекрасное лицо, и стройный стан чтобы быть вполне хорошим человеком, надо быть добрым, а доброта не

на лице, а в сердце. Прожив с человеком один день, можно очень хорошо судить о его образовании; но целых годов недовольно, чтобы судить о том, что делается у него в сердце.

## XVII

Если бы обжорство не губило того, кем оно обуяло то и птичка не попадалась бы в сети. Ученый и человек, занятый делом, не думают об обеде и вспоминают о нем только тогда, как почувствуют голод. Кто дал обет Богу за свои грехи влечь самую простую жизнь, тот ест только за тем, чтоб не умереть с голоду. Тот, кто не очень богат, а думает о том, как-бы пожиреть, непременно проводит очень дурно две ночи; первую потому, что слишком наелся, а вторую потому, что думает, где бы и как-бы ему завтра пообедать.

## XVIII

Кто держит врага своего в своей власти и не отрубит ему головы, тот становится сам своим врагом[3]. Если голова змеи лежит на камне, а в руках у умного человека есть палка, разве он станет думать и не сейчас же разобьет змее голову? Жалеть тигра — это значит губить овцу, которая пасется возле

него на поле. Но если ты обижен, и — тебе смерть хочется отомстить — тут самое лучшее — подождать. Гнев, может быть, ослепляет тебя и обида сделана без намерения. Если потом откроется, что враг твой не был виноват, а ты убил его — сколько горьких упреков услышишь ты в своем сердце! В сильном гневе подло убивать человека: ведь, ты не можешь возратить ему жизни! Посмотри, с каким вниманием воин пускает стрелу: ведь она назад не прилетит!

## XIX

За того, кто не делал добра, после смерти его не молятся. Во время неурожая справедливый Иосиф — да будет мир всегда душе его! — не смел насыщать свой желудок, помня, сколько людей голодных. Тот, кто живет в изобилии, может ли понять состояние человека, которому нечего есть? Кто не испытал нужды, тот если и сочувствует, то очень мутно, нуждам бедных людей. О ты, вельможа, едущий на гордом коне, не забудь осла, с которым крестьянин завяз в колючем кустарнике! Не ходи просить огня в хижину бедняка: ты найдешь там только плач и стоны. В

неурожайное время не спрашивай его, как он поживает, если не можешь тотчас же влить целительного бальзама в раны его сердца.

## XX

Ученый, не делающий добра — пчела, которая не дает меду. Скажите этой горделивой, шумящей пчеле, чтоб она вырвала свое жало.

## XXI

Все зависит от Бога, все повинуется Его законам. Посмотри на израильтян, когда Бог покровительствовал им: тьма ночная была им светла, как прекрасный, ясный день. Ты гордишься тем, что в руках у тебя много силы; но кто тебе дал эту силу? — Бог! — Великий Бог! К кому прибегать мне, как не к Тебе, когда меня томит тяжелое горе? Не ты ли мой верховный Судия? У кого рука поднимется выше твоей? Тот, кого Ты ведешь в жизни не может погибнуть. Но кого Ты хочешь наказать, кто за него заступится?

## XXII

«Когда мудрец видит, что где-нибудь зажигается пламя раздоров, удаляется оттуда. Где он увидит спокойствие, там он бросает якорь. Тут только он находит спасение на берегу, и

сердце его спокойно среди спокойного общества».

Эти выписки — только самая незначительная часть Гюлистана, или Розового Сада. В конце сочинения Саади обращается к читателю и говорит:

«Но больше всего мне хочется, чтобы люди поняли мое сочинение. Я хотел в этом труде собрать все нравственные истины и привязать их одну к другой, для того, чтобы они усиливали одна другую, как в жемчужном ожерелье все жемчужины красивее одна от другой. Счастлив я, если мне удалось нанизать их на нитку красноречия, если я умел разлить сладкий мед там, где мои поучения слишком строги и просветить моих читателей, не внушая скуки и отвращения. Я старался давать только добрые советы и употребил на это большую часть своей жизни. Кто бы ты ни был, читатель, если ты удостоишь эту книгу своего внимания, помолись Богу за автора, попроси, чтобы Он простил меня!»









# III ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ



**Х** III ВЕК В ИТАЛИИ. — ПРАВЫ РИМЛЯН И

ДРУГИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ. — МЕЛКИЕ РЕСПУБЛИКИ. — ГВЕЛЬФЫ И ГИБЕЛЛИНЫ. — ФЛОРЕНЦИЯ. — БРУНЕТО-ЛАТИНИ И ЕГО TRÉSOR (СОКРОВИЩЕ). — ИЗГНАНИЕ ДАНТЕ.

В знаменитой поэме Данте, известной под именем *Божественной Комедии*, отражается весь тринадцатый век со всеми ужасами варварства и невежества, среди которого начинали появляться признаки возрождения образованности. Чтобы ясно понять этот переход от мрака невежества, надо припомнить, как и по каким: причинам разрушилась и пропала древняя образованность.

Мы привыкли представлять себе, будто с падением Западной Римской Империи все рушилось, все пропало — и древние верования, и учреждения, и нравы. Мы думаем, что исчезли все плоды древней образованности, что на опустошенной земле остались только безобразные развалины и бездушные трупы людей. Казалось бы, что новые народы, одушевленные христианством, должны были истребить без остатка все прошедшее и на его месте основать из самих себя, своими новыми и

бодрыми силами, новый общественный и нравственный порядок.

Во всем этом много правды. В самом деле, Римская Империя уже готова была разрушиться сама собою, даже без вторжения варваров. Народ был безумно пристрастен к наслаждениям; богатства со всего мира собирались в один центр и развращали правительство и народ; провинции, добыча проконсулов, раздавленные налогами и ростовщиками, обнищали; семейные и общественные связи ослабли; защита государства была вверена наемникам, часто даже иностранцам. Римской Империи невозможно было восстать в прежнем блеске могущества и славы, точно так же как дряхлому старцу нельзя вернуться ко времени бодрой, могучей юности.

Однако же, как общество ни было близко к разрушению, в нем еще были драгоценные начала образованности, наследство прежних веков. Среди унижения нравов, мысль была широка и просторна; науки, литература, искусства существовали еще в памятниках, и если уже не было прежних гениальных людей, то, по крайней мере, их произведения

были изучаемы в школах, а житейские потребности поддерживали и поощряли земледелие, промышленность, торговлю, мореплавание. Нравы изменялись к худшему, а в теории нравственность, стояла высоко и очищалась, как видно из сочинений Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия. Еще раньше их знаменитое слово, в первый раз произнесенное Цицероном — *любовь к роду человеческому* (*charitas generis humani*) — давало мысли пищу и уже начинало свое вечное, до сих пор продолжающееся развитие.

В таком-то обществе водворилось христианство. Оно установило нравственность — не как философскую мысль, а как верховный, неограниченный закон, и выше всех прав, выше самой справедливости, постановило любовь — сокращение всего закона и его совершенство.

Явились варвары. Их вторжения продолжались шесть столетий. Тесня друг друга и покрывая землю, как вечно прибывающий прилив морской, они наводнили собою всю Европу до Геркулесовых столбов: потоп людской был страшнее водного.

Тацит, говоря о германцах, уверяет, что их нравы были чище, нежели нравы Римлян. Может быть, все варвары стоят той же самой похвалы. Но они были очень похожи на те народы, которые и до сих пор называются, у нас дикими: те же достоинства, те же самые пороки. Все они без исключения прибавили свои пороки к порокам завоеванных народов, а народы завоеванные не заимствовали ни одного из достоинств, которые были нераздельны с дикостью варваров. Народы шли, как всепоглащающий пожар. Люди думали, что наступает кончина мира. Но разрушение городов, сел, деревень было еще не самым большим несчастьем. Все погибло: собственность, законы, учреждения, воспитание, науки, искусства, ремесла и даже язык. Наступила ночь на земле. И среди этой ночи — необузданные насилия, жестокости, предательство, презрение обещаний и клятв, и всевозможные преступления.

Епископы иногда призывали варваров к себе на помощь, для борьбы против неприятных сект. Тогда варвары поняли, что союз с епископами неколебимо утвердит их заво-

евание. Они были равнодушны ко всякому учению, слабо привязаны к своим неопределенным верованиям, принесенным из лесов и степей, и потому без усилия, но и всякого убеждения приняли веру побежденных. Они оставались, как были, свирепыми, обманщиками, жадными, корыстолюбивыми, чувственными. Все общество переделалось по образцу начальников. Не стало образованности, не стало мысли вне круга вещей, их окружавших. Мы говорим здесь только об общем состоянии, пропуская исключения, которые встречаются во все времена и не составляют характера ни которого.

Один человек великого ума и необыкновенного гения, Карл Великий, попытался вытащить общество из этой бездны, хотел сделать отношения между людьми более правильными, устроить правосудие, возвысить образованность. Но тогда время еще не пришло, средств не доставало, да к тому же разрушительные причины не все еще истощились. Личное дело Карла Великого умирает вместе с ним. Зло опять входит в прежнюю силу, и среди кровавых распрей, среди ужаснейших

опустошений, среди мучительных конвульсий общества, достигает величайшей степени — феодального безначалия. В истории нет примеров другого, такого же бедственного времени. Было царство грубой силы тысячи тиранов, безусловно владеющих землями и жителями, вечная война между тиранами и беспощадное, незаконное угнетение и истребление народа.

Потом, когда в Италии устроилось несколько республик, когда между папами и государями завязалась нескончаемая борьба о границах светской и духовной власти, явилась нужда изучать права. Это была первая связь между новейшими обществами, погруженными в бездну невежества и злоупотреблений силы, и между преданиями глубокой старины. Связь эта рождалась медленно, смутно. Очень немногие изучали Цицерона, Боэция; в университетах, учреждавшихся по образцу афинских школ, появились памятники греческой философии, переведенных маврами. Это были начала схоластики, которая потом развилась и охватила все науки средних веков. В Италии явились другие источни-

ки знаний и успехов, от прямой и непосредственной связи с Востоком. В давние времена в Италию целыми колониями переселялись художники, вследствие гонений иконоборцев. В XII и в XIII веке умами овладело беспокойство: все искали со всех сторон новых путей, новых средств образованности. Из-под вековой пыли явилось множество рукописей; они читались с торопливою жадностью; потому что пристрастие к древности уже развилось от чтения древних поэтов, особенно Вергилия, который читался тогда с величайшим восторгом. После взятия Константинополя, на Италию полились потоки света древности, и Италия с благоговением встречала великие имена древней Греции — Гомера, Софокла, Демосфена, Платона. Так открывается знаменитая эпоха образованности, известная под именем *возрождения*. Движение распространяется с возрастающею быстротою и в XVI веке охватывает все. Общество перерождается и как при восхождении солнца пропадают холодные тени ночи, так стало исчезать средневековое варварство.

В этом движении одним из главных двига-



телей был всеочищающий, всевозвышающий дух Евангелия, дух любви.

На пути к возрождению, Италия была впереди всех остальных стран Европы, и потому, может быть, более всех терпела. Это будет яснее всего видно из жизни самого Данте; потому что он принимал большое участие во всех тогдашних делах.

Данте родился во Флоренции, в марте месяце 1265 года. Родители его вели свой род от древних Римлян, которым приписывалось основание Флоренции. По средневековым понятиям, происхождение значило очень много; но если в родословной Алигьери и есть какая-нибудь ошибка, то верно, по крайней мере, то, что их происхождение еще древнее, и именно от Ноя. Данте — имя уменьшительное, как наши имена Коля, Миша, и т. п.; а настоящее имя великого поэта было Дуранте. Мальчик потерял отца еще в самом раннем детстве; но его мать хорошо понимала свои обязанности и вверила образование своего сына знаменитейшему ученому своего времени, Брунето Латини. Он был известный грамотей, поэт, философ, алхимик, государствен-

ный человек и астролог. Не смотря на то, что он занимал множество важных должностей, был несколько раз посланником и наконец секретарем республики, однако с охотой, с увлечением занимался образованием Данте. Он понимал, как и многие начинали понимать в его время, что образователи юношества — величайшие благодетели своего отечества, потому что готовят ему мыслящих, просвещенных сынов, что работа образователя бесконечно возвышенна, потому что она дает человеку именно то, чем он отличается от других животных, бессловесных.

К счастью, до нашего времени дошло главное сочинение Брунето Латини, называемое *Сокровищем* (le Trésor), так что по этому сочинению мы можем судить, чему и как учился Данте. Брунето Латини в XIII столетии преподавал в Парижском университете то, что в конце XV века еще считалось невероятною ересью и опровергалось соборами, именно, что земля кругла, как шар. Он говорит: «Ничто не может быть так тесно заключено в самом себе, как то, что кругло. От этого-то бочары и делают бочки и бочонки круглыми: они

и держатся только своею круглостью. С другой стороны, нет такой формы, которая была бы так вместительна, как шарообразная. Сверх того, никакая другая форма не устроена так удобно для движения и круговращения, как круглая; потому что небо и твердь должны вертеться и двигаться беспрестанно».

Брунето Латини угадал часть знаменитого закона тяготения, вполне приписываемого Ньютону. Он говорит в одном месте своего сокровища: «Земля так правильно кругла, как будто делана по циркулю. Потому что, будь она другой формы, я был бы в одном месте земли ближе к небу и тверди, чем в другом: а этого быть не может. У кого достало-бы сил, тот мог бы прокопать землю из конца в конец насквозь огромным колодцем.

Тогда если бы в такой колодезь бросить очень большой камень, или другую тяжелую вещь, этот камень не пролетит землю насквозь, а остановится ровно на половине». Чтобы открыть эту истину, нужно было большое напряжение светлого, не затемненного предрассудками ума. Но нельзя и требовать, чтобы Брунето Латини хорошо знал меру

окружности земного шара. Он говорит: «Земля имеет в окружности около 24,037 итальянских миль, (41,582 версты) и доказано, что поперечник ее составляет третью долю окружности». Здесь он ошибся; потому что окружность земного шара немного более  $37 \frac{1}{2}$  тысяч верст, а поперечник составляет  $113/355$  окружности.

Далее — заблуждений множество. Автор Сокровища говорит, что радуга состоит из четырех главных цветов, потому что в ней принимают участие все четыре стихии: огонь, воздух, вода и земля. По его мнению, в воздухе дуют четыре главные ветра с четырех сторон света, «и сталкиваются, и стучаются друг с другом так сильно, что в воздухе рождается огонь, и зажигает пары, которые гремят, воспламеняясь».

За объяснением физических явлений, у Брунето Латини следует география всего земного шара. Он говорит, что Азия очень велика и равняется половине всей земли, что она начинается от устья Нила и простирается до того места «где река Фанам впадает в объятия Святого Георгия». После довольно верного

описания знаменитого разлития Нила, Брунето объясняет, отчего Красное море называется красным. Здесь он показал большую проницательность и опередил своих современников многими веками. Он говорит, что вода этого моря не красного цвета, а что только так кажется, оттого, что дно его красное. Между тем, мнение, будто вода в Красном море красная, так укоренилось, что через три столетия после Брунето, один из самых замечательных людей Португалии, ученый и неустрашимый Иоам де Кастро, нарочно заходил в Красное море, чтобы убедиться в справедливости рассказов о его цвете. Зато, с своею обычною откровенностью он говорит, что обманчивое название этого моря равно ничего не значит, если не обратить внимания на маленькие отблески подводных кораллов.

Далее, в какой-то земле Селуиции Брунето описывает гору, такую высокую, что с нее видно солнце в продолжении «по крайней мере четвертой части ночи, так что в одно и то же время можно видеть ночь и день». Для тех, которые с очень высокой горы, например, с Монблана, видели захождение солнца,

В ту минуту, когда в долинах давно распространилась ночь, описание высокой горы покажется не совсем неправдоподобным; но нельзя не признаться, что четвертая часть ночи — слишком преувеличенное время.

В Европе Брунето Латини не находит ничего удивительного, кроме разве только того, что Ирландия — страна пагубная для всякого пресмыкающегося животного, так что если только туда попадет какая-нибудь змея, то в тот же миг умирает. Поэтому, говорит Брунето, против укушения змей, очень полезно носить с собою камушек, привезенный из Ирландии.

Зато в Африке чудес множество. Там, именно в Ливии, вода выше земли, так что реки текут по земной поверхности гораздо выше своих берегов и не заливают их. Троглодиты Амазонки, которые через три века потом, по мнению суеверных людей, населяли Новый Свет, Америку, разные безымянные народы, которые строят себе дома из соли, все это, по рассказам Брунето, живет и движется на огненной земле Африки.

За обширными пустынями Эфиопии, Бру-

нето рассказывает о берегах моря-океанского (mer-océane). Прилив и отлив объясняется судорожными движениями земли во время ее дыхания; но тут же автор делает оговорку и говорит, что хотя это и общепринятое мнение, но что ему вероятнее кажется объяснение прилива и отлива действием небесных светил.

В отделе естественной истории лучше всего виден здравый ум Брунето Латини и в тоже время средневековая покорность его в принятии рассказов, часто совершенно нелепых. Там, где он описывает животных, которых сам имел случай видеть и наблюдать, он вполне верен природе, он — Кювье средних веков; но он не пропускает также случая поговорить и о таких зверях, о которых идет молва, что они есть. Он описывает феникса, баснословную птицу, которая никогда не умирает и возрождается из своего пепла; василиски, драконы и другие диковинные животные населяют Африку, страну чудес.

Рассказ о единороге, до сих пор украшающем некоторые гербы, составляет один из грациознейших вымыслов средних веков.

Единорог — животное, величиною с лошадь, и совершенно белое, кроме головы, которая непременно ярко-пурпурного цвета. На лбу у него один рог, в нижней части белый, в середине черный, а с конца красный, и длиною в локоть, а по некоторым сказкам, в два локтя. Рог этот так крепок, что его не берет никакая пила и не сломит ничто в свете; им-то единорог побеждает всех животных и даже слона. Этот страшный и неодолимый зверь поддается однако ласковой улыбке и покорно становится на колена, когда его хотят погладит, если только ласкает его самая непорочная девица. Рогу единорога приписывалось множество удивительных свойств: человек, отравленный сильнейшим ядом, вылечивался мгновенно, если только выпивал несколько глотков воды из стакана, сделанного из этого рога; если из того же рога была сделана рукоятка ножа, то она мгновенно покрывалась влажностью, как только ножом прикасались к отравленному кушанью.

С таким учебником в руках, как *Сокровище*, и с таким учителем, как Брунето Латини, Данте делал огромные успехи. Из его бес-



смертного сочинения видно, что он пошел еще дальше, и во многом опередил своих современников. Он с точностью определил, что угол падения равен углу отражения, объяснил настоящий состав млечного пути и даже упомянул о тех четырех звездах, которые были открыты через двести лет после него и составляют великолепное созвездие Южного Креста.

До двадцатипятилетнего возраста, Данте сделался известным во Флоренции своими канцонами, песенками и приобрел себе множество друзей. Характер у него был прямой, открытый, гордый, иногда слишком заносчивый, но всегда благородный. Хотя он был прозван *поэтом*, но при тогдашнем состоянии Италии и особенно Флоренции этого звания было мало. Родственники и друзья настаивали, чтобы Данте принял участие в общественных делах. А общественные дела были очень запутаны и бурны.

Вся Италия разделялась тогда на две главные партии, Гвельфов и Гибеллинов. Первые, Гвельфы, держали сторону папы, а другие, Гибеллины, сторону Германского Императора.

Названия этих двух партий произошли оттого, что владельцы из Гогенштауфенского Дома, Императоры, назывались тоже Вейблингами в Германии, а из слова Вейблинг итальянский выговор сделал Джибеллин. Другие германские владельцы, герцоги Баварские, носили фамилию Вельф, (по итальянскому выговору Гвельф) от замка этого имени, и всегда держали сторону папы против Дома Гогенштауфенского. Разные города в Италии были под властью то одной, то другой из этих партий, смотря по тому, к какой партии принадлежали богатейшие граждане, имевшие самое большое влияние на своих земляков и вообще на дела своего города. Сверх того, в каждом городе были свои партии. Случалось, что два богатые семейства оспаривают власть одного у другого, и чтобы одержать верх над соперниками, призывают на помощь противную партию. Происходило междоусобие; обе партии жгли дома и грабили имущества своих противников, призывали на помощь граждан соседних городов, кровь лилась ручьями, и дело чаще всего оканчивалось жестоким поражением слабейшей стороны. Побужден-

ная партия спасалась от окончательного истребления объявляя, что вся принадлежит душей и телом к той партии, которая одержала верх. Во всех этих бесконечных кровопролитиях виновато было ненасытное корыстолюбие и честолюбие богатейших граждан; потому что не было одной могучей власти, которая разом заставила бы замолчать все бурные и не обузданные страсти партий. В церкви, на площадях, на улицах, в домах — вечные ссоры и драки. В семействах не было спокойствия. Вопли, проклятия, стоны смерти раздавались по всей северной Италии, как будто бы народ наслаждался злом, упившись кровью, гордясь преступлениями. Убийства, засады по всем закоулкам, предательство, и повсюду столкновение всего, что только имело какую-нибудь власть. Религия, философия, наука, старинные права, необузданная чернь — все сталкивалось на одной арене. Всякое начало, низкое, или благородное, оканчивалось пропастью междоусобия, и люди кидались в эту пропасть с неукротимой яростью, как будто в предсмертном головокружении. Но среди этого мрака, освещавше-

гося пожарами, было множество благородных стремлений, трогательных привязанностей, высоких самоотвержений; умы просыпались и начиналось неудержимое, неодолимое стремление к великим истинам религии и науки.

В такое-то ужасное время жил Данте, и все события с животворной силой отражались в его пламенной душе. Во всем величии своего гения, стоя над клокочущей бездной современных несчастий, Данте один прислушивался ко всем стонам, взвешивал печали, изучал рыдания, сочувствовал вздохам. Потом, узнав имена, предаваемые проклятию, услышав тягостные обвинения, тяготевшие над известнейшими современными лицами, собрав в великой душе своей слезы целого поколения, он понял *Ад* и создал под этим именем великую поэму.

Не мудрено, что в это время чело его было так страшно бледно и взгляд такой мертвый, что дети смотрели на него с ужасом, а матери говорили им: «Смотрите, смотрите! Вон он пришел из ада!» Может быть, он думал в эти минуты, кому и как он в кровь избичует лице

своим кованым стихом и чьи опозоренные имена он пригвоздит рифмою к адским безднам.

Флорентийская республика едва ли не больше всех других в Италии страдала от междоусобий и беспрестанных ссор между партиями, изредка отдыхая и потом снова погружаясь в кровопролития. В конце XIII века во Флоренции власть была в руках Гвельфов, народной партии, бывшей под покровительством папы. Начальники противной партии, в изгнании, составляли бесплодные и бессильные заговоры. Казалось бы Флоренция, почти в безопасности со стороны Гибеллинов, могла наслаждаться миром. Но время было не такое, чтобы можно было думать о прочном мире. Республике принадлежал небольшой городок Пистойя, лежащий верстах в тридцати пяти на северо-запад от Флоренции. Там жили два семейства, происходившие от одного деда, по фамилии Канчиеллари; по-видимому жили они согласно, а в самом деле, завидовали одно другому во влиянии на сограждан. Главою одного семейства был Гульельмо, а другого Бертукка, оба Канчиелла-

ри. Однажды вечером Лоро, сын Гульельмо, и Джери, сын Бертукки, занимались фехтованием. Все шло хорошо сначала, но потом один из них задел другого не совсем нежно; тот отвечал ударом побольнее и получил еще удар. Молодым людям разгорячиться недолго; они обменялись несколькими жесткими словами, и Лоро нанес Джери удар почти до крови. Расстались они не совсем дружески. Лоро, придя домой, рассказал своему отцу, как что было, и раздосадованный отец приказал ему тотчас же идти к Бертукке и извиниться. Бертукка был характера крутого и заносчивого; он приказал своим людям схватить Лоро и тут же топором отрубить бедному мальчику кисть правой руки, положа ее на колено. Лоро скрепился и не крикнул. Хотя кровь текла ручьем из отрубленной руки, однако у него было еще столько силы, что он дошел домой. Там он показал отцу окровавленный остаток руки и сказал только: «Бертукка». Старый Гульельмо заревел, как раненый лев, и вышел из дому, опьяненный бешенством, оставив безрукого сына на попечение женщин и врача. Второпях созвал он, сколько успел, родственников,

друзей, союзников, и всех, кто сколько-нибудь от него зависел. Собралась большая вооруженная ватага. С своей стороны, Бертукка тоже созвал своих приверженцев и ночью при свете факелов и двух пожаров произошла ужаснейшая свалка. Было много убитых, много раненых; многие поклялись мстить за своих родных и друзей, и на другой день несколько человек найдено зарезанными на улицах, в домах, на мосту. На третий день опять драка и еще несколько пожаров. Междоусобие не прекращалось и конца ему не было видно.

У прадеда Канчиеллари было две жены, одна после другой; у каждой были дети, а потом внуки и правнуки, так что и составились две отдельные линии, представителями которых были Гульельмо и Бертукка. Одна из двух прабабушек называлась Бьянка. Гульельмо, происходивший от нее, стал называть себя и всю свою партию *белыми*, а противная партия, для противоположности, называла себя *черными*.

Во время одного из редких перемирий между белыми и черными, решено было, что

уж довольно драться, что лучше обратиться к Флоренции, и дать ей рассудить эту ссору. Флорентийцы, вместо того, чтобы унять ссору, сами приняли в ней участие и скоро сами Гвельфы разделились на черных и белых.

Сторону белых приняли те Гвельфы, которые держались народной партии. Предводителем их был Виери ди Черки, человек храбрый, богатый, любимый народом за щедрость и ласковое обращение.

На стороне черных собралось все старинное дворянство, которое отстаивало свои прежние привилегии против народа, не переходя однако же на сторону Гибеллинов, не любимых за то, что они постоянно призывали на Италию вооруженных иноземцев. Данте, по своим убеждениям и привязанностям принадлежал к партии черных. Начальник ее, Корсо Донати, был его родственником и сверх того был человек необыкновенно замечательный по блестящим качествам своего ума, характера и красноречия. Данте любил его потому, что был поклонником всего прекрасного.

После нескольких кровавых встреч, пар-



тия белых, народная партия, взяла верх над черными. Сделано было несколько постановлений, которыми все старинное дворянство исключалось из управления; положено было, что нельзя выбирать синьоров, то есть правительственных лиц, из семейств *грандов*, а только из народа, именно, из людей, записанных в какой-нибудь цех. Еще положено было, что ежели гранд обидит *пополана*, то есть, кого-нибудь из народа, то обидчик изгоняется, а дом его предается огню и разрушению. Для довершения несправедливости, не требовалось даже свидетеля обиды для того, чтобы можно было произнести приговор над личностью и именем гранда. Такой порядок вещей или, точнее сказать, беспорядок, не мог долго существовать; потому что без справедливости рано, или поздно гибнут и люди, и народы.

Чтобы принять участие в делах, Данте, принадлежащий к числу грандов, должен был записаться в какой-нибудь цех, и по просьбе его, был принят в цех докторов и аптекарей. Он был записан таким образом: «Данте Алигьери, Флорентийский поэт». Из этого уже видно, чем был известен Данте,

прежде чем принял участие в общественных делах. Вступлением своим в цех Данте открыл себе дорогу ко всем почестям: он мог даже достигнуть звания Гонфалоньера, то есть, главного лица, председателя республики.

В самом деле, с тех пор правительство не принимало никакого важного решения, не встречало никакого иноземного посла, не отвечало такому послу ничего, не посоветовавшись с Данте. «В нем вера всего общества, в нем общая надежда; в нем разрешаются все возможные трудности» — говорит Бокаччио, знаменитый писатель и биограф Данте.

С 1293 до 1300 года Данте был четырнадцать раз отправляем в качестве посланника к разным соседним и дальним владетелям, для решения вопросов, касавшихся республики. Тогда посланники были не то, что теперь; тогда посланник садился верхом и отправлялся, куда надобно было, один, без свиты, приезжал, оканчивал данное поручение и возвращался домой точно так же, как уезжал один, верхом. Знаменитый Макиавель, часто бывший посланником еще через два столетия после Данте, отправлялся в путь, только что по-

лучал предписание: *Nicolo, tu cavalcherai* (Николай, ты поедешь).

В 1300 году, именно, в обычный день гулянья, первого мая, среди многочисленной толпы, группа гуляющих из партии белых задела, нарочно, или нет, не известно, несколько молодых людей, принадлежащих к партии черных. После нескольких грубых слов с той и другой стороны, обе партии схватились за шпаги и за топоры, и кровь потекла. Весь город разделился на два непрязненные лагеря. Потом в продолжение полутора месяца сряду беспрестанно надо было ждать всеобщего кровопролития.

При таком-то напряженном положении дел Данте был избран в приоры, которых было всего восемь, во главе управления. Ему было тогда тридцать пять лет. Уже и прежде Данте имел влияние на дела, если не политическим местом своим, то умом; а тут он почти один стал управлять делами. Происхождением он был Гвельф, по склонностям принадлежал к партии белых; но он не мог управлять несправедливо, потому что понимал великость своего назначения и нравственную

ответственность, которая лежала на нем одном.

Флоренция понимала все опасности, которые скопились вокруг нее, и потому выбрала себе главою Данте, поэта, самый обширный и твердый ум того времени. Беспристрастие, одушевлявшее Данте, одно только могло спасти республику, если в те печальные времена было для Флоренции какое-нибудь спасение.

Данте был убежден, что во Флоренции не будет спокойствия до тех пор, пока она не избавится от заносчивых и беспокойных предводителей партий. Он очень скоро на это решился и созвал народ вокруг дворца главного управления, Синьории. Сам он предложил решительную меру, которая и была принята: тотчас же изгнать самых опасных предводителей партии белых и партии черных. Только что это решение было исполнено, как Флоренция вздохнула свободнее. Вслед за этим управление страню стало тверже; потому что под него не подкапывались, ему не грозили. Мир, порядок, благоустройство водворились в городе, благодаря необыкновенной твердости Данте, который в числе белых по-

разил изгнанием многих ближайших друзей своих.

Но недолго Флоренция наслаждалась тишиною: на этот раз гроза собиралась извне. Папа Бонифаций VIII несколько времени не знал, которую из двух партий, белых или черных принять под свое особенное покровительство; потому что и та и другая была Гвельфы. Наконец папа принял сторону черных, которые безусловно отдавались ему, с тем только, чтобы он помог им насытить их кровожадную мстительность. Корсо Донати больше хотелось какими бы то ни было средствами ворваться во Флоренцию, раздавить своих противников, сжечь их дома и на другой день после победы сослать в изгнание тех, кто останется жив. Он и не думал, как придется ему после управлять, во имя Франции, или Рима, свободно, или с позором иностранного влияния. Прежде всего ему хотелось победить, во что бы то ни стало.

Граждане Флоренции знали очень хорошо, что папа любит Корсо Донати, и знали, что их ожидает, если этот человек под покровительством Бонифация VIII опять войдет во Фло-

ренцию. Нужно было послать верного и умного человека к папе, хлопотать о том, чтоб он не помогал Донати, и объяснить, какое зло обрушится на Флоренцию с его приходом. В таком важном случае выбор пал на Данте; но он был тоже необходим и дома, и все это чувствовали. Сегодня упрашивали его остаться, и завтра уговаривали ехать. «Если я останусь, кому же ехать? — А если поеду, то кто же останется?» — говорил сам Данте, повторяя мысли своих соотечественников.

Однако он поехал с двумя другими послами. Между тем в Рим уже успел приехать французский принц, Карл Валуа, хлопотать о том, чтобы Бонифаций VIII благословил и объявил его императором Восточной Римской Империи. У него были на это некоторые права по второй жене, внуке Балдуина II. Папа обещал ему просимое благословение с условием, если он прежде поможет ему водворить порядок во Флоренции, то есть, ввести туда партию Донати.

Папа скоро понял, который из трех прибывших в Рим Флорентийских посланников заключает в себе все дела, всю будущность

Флоренции, который в случае нужды, может оказать самое сильное сопротивление политическим намерениям Рима. Тогда он отпустил двух посланников республики, а третьего удержал при себе, еще не давая прямого окончательного ответа.

Между тем Карл Валуа, рассылая самые миролюбивые прокламации, уверяя в своих дружеских намерениях, вошел во Флоренцию. Вслед за ним вошли и черные с Корсо Донати. Сначала они хотели мирно вести дела. Они назначили одного из своих, именно Дино Кампаньи, чтобы он вел переговоры об устройстве правительства, составленного поровну из черных и белых. Потом черные объявили, что кроме равного числа приоров из обеих партий, они требуют, чтобы председатель республики, гонфалоньер, был непременно из их партии. Сам Кампаньи был этим взбешен и сказал: «Не хочу я быть Иудой! Чем решиться на такое предательство, я лучше отдам сына своего родного на съедение собакам».

Корсо Донати воспользовался несогласием и однажды ночью вооружил всех своих при-

верженцев и выпустил на улицы Флоренции ватагу, жаждущую убийства, грабительства, крови, пожаров. Прежде всего они разломали тюрьмы и присоединили к себе выпущенных преступников. С этими достойными союзниками, они бросились на дома белых и — началась резня. Убийства покрывались пожарами и чрез пять дней, по окончании резни, полгорода было разрушено и кровь высохла в пожарах.

Услышав об этих ужасах, Бонифаций VIII увидел, что приверженцы его зашли слишком далеко. Он послал во Флоренцию легата, чтобы унять жестокости и успокоить растерзанный город. Но было поздно. Огонь и меч утомились: остальных противников изгнание спасло от смерти.

Данте в Риме узнал о несчастиях своего отечества. Враги не забыли и его: и он был приговорен к вечному изгнанию, а через два месяца потом он получил известие, что первый приговор изменен на смертную казнь; ему запрещено было вступать на земли республики, и, в случае неисполнения этого запрещения, он должен был быть сожжен жи-



вой, так чтоб умер (Igne comburatur sic quod morietur).

Изгнанник Данте! Лучшая голова, благороднейшее сердце Флоренции — изгнаны были за то, что хотели добра своему отечеству, за то что всеми мерами старались воспротивиться иноземному вторжению. Лишиться отечества навсегда — величайшее несчастье, какое только может постигнуть гражданина.

Но он не унижался, не молил о прощении. Через шестнадцать лет после изгнания, друзья Данте, уже славного знаменитою поэмою «Ад», выхлопотали у Флорентийского правительства, чтобы ему позволено было возвратиться в отечество с условием, если он захочет публично покаяться в соборе, будет просить прощения у республики и заплатит известную сумму как штраф. Вот что он отвечал на это своему родственнику, духовному лицу:

«Письмо ваше, полученное мною с теми чувствами уважения и привязанности, какие я к вам питаю, извещает меня, как вам хочется, чтобы я вернулся в отечество. Я благодарен вам тем более, что изгнанник редко находит друзей. Зрело обдумав дела, я вам отве-

чаю. Может быть решимость моя не будет согласна с желаниями некоторых мелких душ; но я отдаюсь в этом случае на ваш мудрый суд. Ваш племянник уведомил меня о том, что дали мне знать многие другие друзья, то есть: что „по решению, недавно состоявшемуся во Флоренции касательно изгнанников, я могу возвратиться в свое отечество, если заплачу известную пеню и вытерплю унижение, прося прощение и получая его“. В этом, отец мой, я замечаю две смешные и дерзкие вещи. Это говорю я не для вас, отец мой, потому что в вашем письме, внушенном мудростью, вы не упоминаете ничего такого; это тем, кто сделал мне такие предложения. Этим ли славным путем Данте возвратится в свое отечество на шестнадцатом году изгнания? Так ли вознаграждается чистая совесть, всем известная и открытая? Этого ли заслужили ученые труды? Прочь от меня, прочь от человека, утешаемого и оживляемого философию, эта корыстная низость, которая отдается с связанными руками и ногами стыду и поношению. Весь свой век проповедывал я справедливость: так прочь от меня мысль — деньгами

купить мое прощение и заплатить гонителям моим, как будто они мои благодетели! Нет, отец мой, не этим путем я снова увижу свое отечество! Найдите мне, или пусть другие сумеют указать мне, почетную дорогу, средство, которое не омрачило бы славы Данте, и я поспешу лететь в ваши объятия. Но если, для возвращения во Флоренцию, нет подобной дороги — никогда я не возвращусь во Флоренцию! Да и что же? Разве не во всех странах мира я буду наслаждаться видом светил небесных? И неужели мое вступление в отечество должно быть ознаменовано унижением меня в глазах моих соотечественников? Нет...»

Эта прекрасная страница яснее говорит о неукротимой силе характера «божественного отца Данте,» чем двадцать томов примечаний и толкований.

Враги не удовольствовались изгнанием Данте из отечества, они хотели опозорить его имя, взводили на него клеветы в разных низостях; а это значило изгнать его из человеческого общества; потому что бесчестный человек есть существо отверженное. Но клеветам

врагов верили только враги же Данте. Он так уважал самого себя, что даже не защищался.

Его очень печаливало положение жены и детей покинутых во Флоренции. Едва можно было спасти от разграбления наследственное их имущество и то только потому, что Джемма Данте находилась в родстве с некоторыми из гонителей поэта. Но и при этом она вела жизнь очень бедную и сама должна была зарабатывать кусок хлеба, чтобы не умереть с голоду.

Это было для нее и непривычно, и, по ложным понятиям тогдашнего времени, казалось унижительным. Она принадлежала к знатной фамилии.

Данте знал все это и не имел средств помочь горю. Чтобы понять его страдание, надо вспомнить, до какой степени могла доходить раздражительность его характера: однажды, идучи по улице, он слышит, что кузнец поет стихи одной из его канцон с пропусками, с надставками, со всем безобразием, которое показывает недостаток смысла и порядочного слуха. Данте вбежал в кузницу, начал хватать молотки, щипцы и другие вещи и бросать их

на мостовую. — «Что вы делаете? С ума вы сошли? Вы ломаете мои вещи!» — закричал кузнец.

«А зачем ты ломаешь мои стихи? — отвечал Данте. Они — мое изделие; у меня нет другого ремесла».

В другой раз встречается он мужика, который вез что-то на осле, пел Дантову песню и после каждой строфы останавливался и кричал: «но (агги)!» Данте подбежал к погонщику, хватил его по плечу и крикнул тоже: «но (агги)! Этого у меня в стихах нет».

Еще случилось — Данте был в церкви. Он стоял неподвижно, молча и о чем-то думал. Какой-то человек, как видно, очень нескромный, подошел к нему и заговорил с ним. Данте отвернулся и пошел прочь. Незнакомец, должно быть, обиделся, нарочно пристал к нему и стал надоедать разными вопросами. Данте, чтобы отвязаться от него, сказал:

— Прежде, нежели я скажу вам что-нибудь, отвечайте на мой вопрос: какое животное на свете самое большое?

— По словам Плиния, — отвечал незнакомый, — слон.

— Ну, так, слон, перестань надоедать мне!

Если такие мелочи возбуждали в Данте негодование, так можно вообразить, что он перечувствовал и перетерпел во время своей скитальческой жизни.

Подарок, одолжение, покровительство не от родственника, не от друга, почти всегда есть или подкуп, или милостыня. Подкупать Данте было не для чего: он это знал; а для получения милостыни и человек с неразвитым чувством, без гордого сознания своего достоинства, как на преступление, дрожа протягивает руку. «О! Горек чужой хлеб и тяжелы ступени чужого крыльца!» — восклицал он, вероятно, припоминая услуги своих благодетелей.

Таким образом в тоске изгнания, в горе нищеты, с неутолимимым чувством обиды и безнадежности на возвращение в отечество, к благородным трудам для счастья своих сограждан, погибавших от взаимной злобы, от пороков, среди кровопролитий, смрада трупов и пожаров, великий несчастливец, Данте бродил из города в город. Иногда попадались люди, которые принимали в нем сердечное уча-

стие и старались его утешить; но изгнаннику трудно забыть свое положение. Жизнь ему была в тягость. Однажды, вошедши в монастырь, в церковь, Данте, утомленный, в дорожной пыли, задумчиво смотрел на своды здания и на изображения святых. По окончании службы один из монахов подошел к нему и спросил, что ему надобно. Данте, вероятно, не слышал вопроса и не отвечал ни слова. «Чего ты хочешь?» — повторил монах громче прежнего. — «Мира, отец мой! Душевного спокойствия!» — отвечал Данте.

Но этого спокойствия, которого мы ждем от могилы, Данте, как человек с сильным характером, искал в ученых трудах и в поэзии. Явившись в Париж, который тогда в целой Европе считался средоточием всякой премудрости, Данте захотел приобрести там право на звание *богослова*. А титул богослова в XIV столетии означало высшую ученость, достойную общего уважения. Для этого надобно было выдержать в университете публичный *диспут* (спор), то есть, предложить известные *тезисы*, или мысли, давать требуемые объяснения на них, опровергать противоречия,

или решать вопросы, какие кому вздумается задавать экзаменуемому. Вопросы, которые были в ходу почти в продолжении всех Средних Веков, были такого рода: «на каком языке говорили Адам и Ева? Кто из них у кого учился говорить? Как душа человеческая соединяется с телом? В целом ли теле человека она находится, или в одной части его, и в какой именно? Что будет на том свете с душами младенцев, которые умирают некрещеными? Куда девался рай, в котором блаженствовали первые люди?» и тому подобное. Парижские ученые осыпали вопросами гордого иностранца, который осмелился вызывать их на состязание. Кроме богословских вопросов ему задавали еще вопросы физические, вроде тех, которые решал Брунето Латини. Данте изумил всех обширностью своей памяти, быстротою соображения, находчивостью, тонкостью ума и легкостью речи. Поэтому было решено, что он выдержал испытание *о всем, о чем только человеку можно знать* (*de omni re scibili*). Но кроме знания, для получения достоинства доктора, то есть, высшей ученой степени, нужны были деньги, которые по по-



становлениям университета, надо было платить за производство дела, за переписку, за бумаги, за диплом, или свидетельство; а денег у Данте не было. И так успех его ученой битвы, его ответы на что угодно, не послужили для него ни к чему. Он остался по прежнему с титулом поэта, которое дали ему его соотечественники. С ним он останется навсегда и в потомстве.

Все его сочинения, например, о монархии, о происхождении языков, религиозные песни, песни светские, представляют, или схоластические труды ученого, который, подобно своим современникам, занимался неразрешимыми и бесполезными вопросами, или стихотворные попытки в разных родах. Но весь поэтический гений его выразился в его *«Священной поэме»*.

Она разделяется на три части: Ад, Чистилище и Рай.

Данте представляет, что посредине пути жизни, он сбился с дороги, зашел в дремучий лес и встретился с Вергилием, Римским поэтом. Вергилий, как жилец того света, ведет Данте сперва по Аду, потом по Чистилищу[4],

показывает ему разные роды наказаний и говорит, кто за что наказан. В Рай Виргилий не провожает Данте, потому что сам не смеет туда войти. Данте входит в жилище блаженных один под руководством какой-то светлой женщины — Беатриче. Все эти видения, разумеется, изобретенные фантазией, Данте и описывает в своем сочинении.

Вероятно, частью потому, что он видел между своими современниками бездну пороков, злодейств и бедствий, потому, что сам перенес множество несчастий, он лучше всего описал Ад — страну бесчисленных и безотрадных страданий. Этим же он воспользовался, как средством, чтобы навести ужас на современных ему злодеев и отомстить своим врагам. О некоторых он говорит, что видел их в Аде. Он описывает свои видения с такою естественностию и поразительной убедительностию, что многие, особенно суеверные люди, принимали это за истину и думали, что он действительно сходил в Ад. Загар его лица, курчавые волосы, печаль и мрачное выражение его физиономии, все служило для них доказательством, что это — следы адского пла-

мени, дыма и впечатления адских мук. Тех, кого он заживо поместил в Аде, считали уж мертвыми. О них говорили, что только дьявол оживляет их бездушные трупы; знакомые друзья, родные бежали от них, как от отверженных. Казалось, на лицах этих несчастных, как на вратах Ада, он изобразил черными чертами страшный приговор: «*покиньте надежду навсегда*» (*lasciate ogni speranza*)!

Для нас это сочинение занимательно в высшей степени, как выражение разнообразнейших чувств и страстей в странной смеси величественных и чудовищных, очаровательно-грациозных и неслыханно-уродливых, отвратительнейших картин, с загадочными аллегориями, с сухими схоластическими рассуждениями и с проблесками светлых мыслей, подобно утренним лучам солнца, радующих душу. И все это передано в стихах могучих, звонких и крепких, с какою-то гордою величавостью.

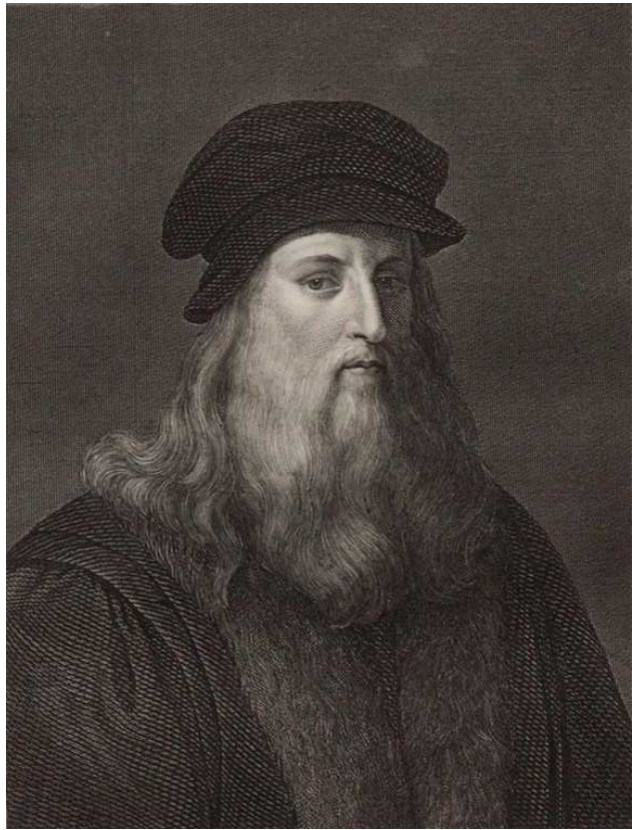
Создав это великое дело своей жизни, нося эти призраки с их муками в душе своей, Данте по-прежнему переходил из края в край и, после тысячи страданий, скончался пятидеся-

ти шести лет от роду, в Равенне.

Францисканские монахи уверяют, что он постригся в монашество, именно их ордена. После смерти начали писать ему похвальные надгробные надписи, ставить ему памятники, делать его бюсты, печатать и перепечатывать его поэму, толковать каждый стих ее, спорить о значении его аллегорий, до ожесточения ссориться по случаю разногласия о достоинстве и недостатках его идей и вымыслов. Но все это пропало от времени, все это разнесено ветром, как тучи насекомых, как пыль; а его творение возвышается, подобно дикой колоссальной громаде, и на всех языках, называется до сих пор *божественным*.



ЛЕОНАРДО ВИНЧИ.



# IV ЛЕОНАРДО ВИНЧИ

**Б**ыла великая, блестящая пора, справедливо названная в истории временем возрождения. Человечество просыпалось после тысячетлетней спячки невежества и избранные люди вели его к духовной жизни. Имена великих писателем и знаменитых художников того времени знакомы каждому. Старейший из великих живописцев был Леонардо Винчи.

## I Первые годы

Леонардо Винчи родился в 1452 году, неподалеку от Флоренции. Он был мальчик с необыкновенными способностями. Несколько месяцев занимался он математикой и так много успел, что вопросы его стали затруднять учителя. Он занимался и музыкой, и скоро стал удивительно играть на лире, припевая песни, которых слова тут же у него рождались. Но большую часть своего времени он употреблял на рисованье и на лепленье разных фигур из глины. Всему он учился и во

всем успевал: механика, фехтование, верховая езда, философия и танцевание, все ему необыкновенно удавалось.

Отец его, удивленный разнообразными способностями Леонардо взял несколько из его рисунков и понес показать Андрею Вероккио, знаменитому в то время живописцу. Андрей не верил, чтобы это была детская работа; ему привели мальчика, который так понравился учителю, что скоро сделался его любимым учеником.

Леонардо занимался тоже и химией; современные биографы рассказывают очень сердито, что он из смешения самых непахучих веществ составлял неприятные, удушающие запахи. Эти газы развивались вдруг, на большом пространстве, так что все присутствующие разбежались. Конечно, это шутка, достойная шалуна-школьника, но все же она показывает, что этот шалун был не из самых обыкновенных. Он открыл способ поднимать огромные тяжести и даже предложил приподнять церковь Святого Лаврентия, чтобы подвести под нее более величественное основание.

На улицах он беспрестанно останавливался и рисовал в своем альбоме разные встречные фигуры. Эти хорошенькие карикатуры остались и награвированы. Лучше этих карикатур никогда не бывало. Он отыскивал не только образцы прекрасного и безобразного, но старался подметить и выразить в рисунке мимолетные движения чувства и мысли. Особенно большое внимание обращал он на странные и неправильные вещи. Приглашал к себе обедать мужиков и самыми забавными и веселыми рассказами заставлял их хохотать до упаду; а сам, между тем, подмечал разинутые рты, оскаленные зубы и налитые кровью глаза своих гостей. Он иногда тоже следовал за несчастными, приговоренными к смертной казни, и с ужасом, но внимательно всматривался в их лица.

Должно быть, он находил средства извлекать пользу из своих работ; потому что отец его был вовсе не богат, а он держал множество лошадей и слуг, и требовал, чтобы его лошади были самые сильные и быстрые в целом городе. На лошадях он делал такие скачки, что изумлял всех знатоков: он был так си-



лен, что легко сгибал рукою подкову.

Отец попросил его раскрасить одному из своих знакомых щит: нужно было, хоть как-нибудь, намалевать голову Медузы, или какое-нибудь страшное животное, Совсем забыв о расписанном щите, отец стучится однажды в мастерскую Леонардо. Тот просит его подождать немного, поскорее ставит свою работу в самом выгодном свете и просит его войти. Отец в ужасе остановился: ему показалось, что в мастерской настоящие змеи, и он убежал.

Леонардо представил змей, ужей, летучих мышей, больших болотных насекомых, с неподвижными злыми глазами, со всем, что в них есть отвратительного: все это выползает из расселины скалы и брызжет ядом.

Лучше всего здесь было то, что все эти ужасы были списаны прямо с натуры. Леонардо не фантазировал в живописи; он подражал природе. Отец поблагодарил Леонардо, и продал щит миланскому герцогу за триста червонцев.

## II

# Леонардо в Милане

Герцог Миланский был убит. После него остался восьмилетний сын под опекою дяди, Людовика-Мавра. Дядя отравил своего племянника и сам сделался герцогом. Чтобы рассеяться в тоске от угрызений совести, Людовик давал праздник за праздником и собирал вокруг себя все знаменитости. В этом подражал он знаменитой фамилии Медичи, которая прославилась в те времена великодушным покровительством художников и ученых. Он очень любил музыку и особенно знаменитый в древности инструмент лиру, который был хуже нашей обыкновенной, печальной гитары. Говорят, что Леонардо показался первый раз в Милане на состязание с лучшими музыкантами, собранными из целой Италии. Явился он с лирой своего изобретения; она была вся серебряная и имела форму лошадиной головы. Он пел на всякие темы, какие кому вздумалось задавать и аккомпанировал себе на своем новом инструменте; он говорил о философии и о множестве других предметов с необыкновенным умом, так что очаровал все лучшее миланское общество, собравшееся во дворце герцога, который и оста-

вил его при себе.

Леонардо понравился всем в Милане; он скоро сделался распорядителем герцогских празднеств, главным строителем водопроводов; ему же было заказано конное изваяние покойного герцога и сверх того несколько портретов.

До нашего времени дошло письмо от Леонардо Винчи к герцогу Сфорца; в этом письме великий художник просит места и вычисляет то, на что он может годиться: «Я умею, во время войны, устраивать самые легкие переносные мосты моего изобретения; умею отливать большие и маленькие пушки, самые разрушительные, которые тоже я изобрел; умею осаждать и защищать крепости, по способу еще никем не употребленному. Во время мира я живописец, скульптор, архитектор, механик, водопроводчик и гожусь на все, чего только можно справедливо требовать от смертного создания». Леонардо доказал, что он во всем этом величайший мастер.

После него осталось тридцать томов рукописей и рисунков, в которых видна вся жизнь этого великого человека. За один из этих то-

мов Карл I, король Англии, предлагал семнадцать тысяч рублей серебром. По рукописям Леонардо и по запискам современников видно, что он вел разом работ двадцать, и, не упуская из виду ни одной, во всех превзошел современников.

### III

## Его художественная деятельность

Тридцати лет, он приехал в Милан и уехал только после падения Людовика, то есть, прожил там семнадцать лет. Он мало писал во все это время, зато управлял академиею живописи и беспрестанно изучал анатомию. Знаменитейшая из его картин этого времени — Тайная Вечеря.



Художник выбрал то потрясающее мгновение, когда Иисус Христос, окруженный Своими учениками, накануне Своей смерти, говорит им, что один из них предаст Его. Как глубоко должна была страдать Душа Божественного Учителя, когда Он видел, что из двенадцати избранных нашелся один предатель, который решился за деньги выдать Его врагам.

Иисус Христос сидит посреди длинного стола. Глаза его опущены; Он не смотрит на учеников, говоря о предателе. Возле Христа, по правую Его руку, — любимый ученик Его — Апостол Иоанн, далее — предатель, а за ним — Апостол Петр. Художник представил то мгновение, когда Божественный Учитель произнес Свои обвинительные слова, и на всех лицах учеников выразилось чувство недоумения и негодования на предателя.

Апостол Иоанн, глубоко огорченный словами Спасителя, слушает Апостола Петра, который сообщает ему свои подозрения, может быть, против одного из учеников, сидящих влево от Иисуса Христа.

Иуда, вполтину обернувшись назад, ста-

рается взглянуть в лице Апостолу Петру, чтобы узнать, о ком он говорит с таким жаром, а сам старается принять спокойный вид, чтобы отречься от обвинения. Но он уже открыт. Апостол Иаков, протянул левую руку чрез плечо Апостола Андрея и говорит св. Петру, что предатель возле него. Св. Андрей смотрит на Иуду с ужасом. Апостол Варфоломей, сидевший справа, налево от зрителей, встал, чтобы лучше видеть, кто предатель.

Налево от Иисуса Христа, Апостол Иаков уверяет, что предатель не он. Движение его тела в высшей степени естественно: он расставил руки и выдвинул беззащитную грудь. Апостол Фома встал с места, быстро подошел к Иисусу и, подняв одну руку, как-будто вопрошает: неужели один из нас?.. Святой Филипп, младший из Апостолов, встает чтобы уверять в своей верности, Апостол Матфей повторяет страшные слова Апостолу Симону; Апостол Фаддей указывает ему на Апостола Матфея. Апостол Симон, последний налево от Иисуса, в негодовании, как-будто восклицает: «Не может быть!»

Наша гравюра служит только для указа-

ния мест Апостолов и не может дать понятия о величественном подлиннике. Но и тут рассмотрев все лица, нельзя не заметить, что все окружающие Иисуса — ученики Его, и глаза невольно возвращаются к их Божественному Учителю. Глубокая скорбь, выраженная на Его лице, потрясает душу зрителя.

Дверь и два окна горницы представлены открытыми; вдали видны горы и деревья, освещенные последним светом вечерающего дня; это еще увеличивает печальное впечатление всей картины.

Если только был на свете человек, способный превосходно исполнить такой возвышенный предмет, так это был, конечно, Леонардо Винчи. В его кисти было то редкое благородство, которое у него поразительнее даже, чем у Рафаэля. В колорите Леонардо была какая-то задумчивая нежность, много теней, не было слишком блестящих красок. Наконец если принять в соображение, что картина его была огромная[5] и исполнена с изумительным тщанием, не говоря уже о превосходном выражении, то нет ничего удивительного, что она была очень заметна в истории ис-

кусств. В картине все отделано, даже до малейших мелочей в драпировках, украшении стен, в складках скатерти.

## IV

### **Как Леонардо Винчи учился для этой картины**

Джиральда писал в 1554 году: «Драматический писатель должен следовать примеру знаменитого Леонардо Винчи. Когда этот великий живописец должен был внести в одну из своих картин какое-нибудь лицо, то он сначала спрашивал самого себя, что это за лицо, каков его характер, весело оно, или строго, спокойно, или нет, старо, или молодо, доброе оно, или злое. После продолжительного размышления он отвечал себе на все эти вопросы, и тогда отправлялся в такие места, где мог видеть людей, каких ему было нужно. Он внимательно изучал их движения, физиономию, манеры, и всякий раз, как только находил малейшую черту, подходящую к своему предмету, тотчас же рисовал ее в своем альбоме».

В самом деле, так и следует работать. Художник, пишущий иначе, наверное далеко



отойдет от природы.

Леонардо Винчи сначала нарисовал головы Апостолов и Иисуса Христа карандашом; потом написал все фигуры масляными красками и наконец, после продолжительных приготовлений, принялся за самую картину, в столовой одного монастыря в Милане. Он написал ее на стене масляными красками, по способу, тогда только что изобретенному; он не решился писать водяными красками *по свежей штукатурке*, *al fresco*, потому что это было не в его характере. Работать аль-фреско мог только такой нетерпеливый гений, как Микель-Анджело; масляные краски дают возможность поправлять работу и несколько раз возвращаться к тому, что уже написано и кончено, а работа аль-фреско должна кипеть, и то, что кончено, через час уже не может быть исправлено.

Леонардо приходил обыкновенно в монастырь очень рано по утру; взбегал на свои подмости и принимался за кисти. Там он забывал все на свете, даже самую пищу, и работал до позднего вечера. Другой раз он по три и по четыре дня не прикасался к своей рабо-

те, только приходил на час, или на два и стоял перед картиной, сложа руки; может быть, он сам разбирал и оценивал свою работу. Иногда летом, в полдень, когда от страшного жара улицы Милана бывали совершенно пусты, Леонардо шел через весь город от того места, где лепил свою колоссальную лошадь, в монастырь, торопливо брался за кисти, прибавлял одну, или две черты к какому-нибудь лицу и уходил опять работать.

## V

### **Несчастья картины**

Когда Франциск I, страстно любивший искусства, вошел победителем в Милан, (1515 г.), то ему вздувалось перенести Тайную Вечерю Леонардо во Францию. Он спросил у своих архитекторов, могут ли они, при помощи огромнейших балок и железных полос так укрепить стену, на которой была картина, чтобы она не разбилась в дороге? Никто не мог отвечать ему за успех этого дела. В наше время это было бы очень легко: стоило бы только перевести картину на полотно.

Картина, написанная в 1497 году, была тогда в полном блеске; но в 1540 году, как видно

по запискам современников, она потускнела, а в 1560 году половина красок ее исчезла. В 1624 году в этой картине почти уже нечего было смотреть. Это понятно потому что монастырь стоит на сыром, низменном месте, и всякий раз, как в Милане бывают разливы рек, в столовую попадает вода. В 1762 году решено было поправить картину, и эта работа поручена была какому-то Беллотти, очень плохому живописцу. Беллотти устроил подмости, затянул их полотном, работал несколько лет и наконец открыл свое полотно. Знаменитая картина была сильно испорчена.

Путешественники, смотря на картину, продолжали восхищаться живописью Леонардо Винчи, тогда как его работы осталось очень мало. Через пятьдесят лет, краски опять поблекли и опять решено было исправить ее. На этот раз многие толковали, кому поручить эту важную работу, и решили наконец отдать ее какому-то Мадза, который испортил ее совершенно. Этот вандал имел дерзость соскоблить железным долотом почтенные остатки великой работы Леонардо и переписать все

по своему. Несколько наводнений довершили уничтожение картины, так что теперь в ней невозможно видеть ни одной черты Леонардо Винчи.

## VI

### Леонардо во Флоренции

Покровитель Винчи, герцог Людовик, был лишен престола войсками Французского короля Людовика XII и должен был бежать. Леонардо Винчи тоже уехал во Флоренцию (1500 г.).

Там он встретил опасного и уже знаменитого соперника, Микель-Анджело, выше Леонардо Винчи особенно за то, что первый работал скоро, а второй заставлял ужасно долго ждать.

Род живописи обоих знаменитых людей — совершенно различный. В кисти Леонардо всегда заметна чрезвычайно нежная и благородная грациозность, тогда как Микель-Анджело поражает смелостью и силой положений, красок и всей своей живописи. Конечно, последний был понятнее для большинства зрителей. К тому же Леонардо работал мало, когда вздумается, иногда занимался живопи-

сю, иногда математикой, иногда ничем; а Микель-Анджело горел своей работой и каждую минуту употреблял на то, что только есть труднейшего в искусстве.

Микель-Анджело был неукротимо деятелен в своей мастерской; а все остальное в своей жизни он считал совершенно посторонним делом. Леонардо, напротив, главным делом считал удобства и выгоды жизни, а живопись и другие искусства были для него занятиями случайными. Он занялся портретами и написал их много; привыкнув к придворной жизни, он очень ловко умел вести живой и умный разговор и всякий раз, как он писал, в его мастерской собиралось избранное флорентийское общество.

Гонфалоньер Содерини заказал Леонардо Винчи и Микель-Анджело большую картину, представляющую Ангиарское сражение, очень важное в истории Флоренции и всей Италии. Оба художника должны были сначала вчерне нарисовать свои будущие картины, с тем, чтобы потом знатоки выбрали из них лучшую для окончательного исполнения на стене. Ангиарское сражение, знаменито меж-

ду прочим тем, что в нем, был убит один только человек, и то случайно: его задавили лошади. В рукописях Винчи найдена длинная записка об этом сражении; она написана с правой руки к левой и с особенным правописанием.

Но звезда его померкла перед Микель-Анджело, и это очень понятно. Предмет картины был совершенно в характере последнего. В картине, изображающей сражение, может быть представлена только сила и храбрость; такая картина может производить только впечатление ужаса. Нежность, мягкость, грациозность кисти здесь вовсе не у места. Еще можно где-нибудь представить молодого человека, убитого во цвете лет, и только. Подробности содержания картины Леонардо Винчи неизвестны: рисунок исчез во время смут.

## VII

Жалко становится, как подумаешь, что три величайшие произведения Винчи — Тайная Вечеря, рисунок Ангиарского сражения и колоссальная лошадь — пропали, и только первое из этих произведений дошло до нас во

многих, более, или менее удачных копиях.

Много времени пропадало у Леонардо Винчи в работах нехудожественных; так, например, он производил огромные работы на реке Адде, чтобы сделать ее удобною для судоходства, и в его рукописях найден рисунок шлюза, который существует до сих пор так, как он его построил. Занимаясь постройкою воинских укреплений в разных местах Тосканы, он должен был терять много времени на разъезды, однако же успел в это время написать несколько картин, из которых едва ли не лучшая — изображение Богоматери с Божественным Младенцем, находящееся в Императорском С. Петербургском Эрмитаже. Эту картину Винчи так высоко ценил, что поставил на ней свой вензель D. L. V., который можно найти еще только на одной картине, принадлежащей Санвители, в Парме.

## VIII

### Что изучал Леонардо Винчи

Много есть на свете истин, признанных живописцами и неживописцами, на пример, что слезы выражают печаль, улыбка выражает радость, слишком раскрытые глаза —

страх, и т. д. Леонардо Винчи тоже знал это очень хорошо, но этим не довольствовался. Он следил, как печаль проходит по лицу со всеми едва заметными изменениями от первого испуга — до слез. Тут мускулы лица проходят целый ряд изменений и выжимают наконец слезы, доводя лицо до выражения полного изнеможения.

Позднейшие живописцы не изучали, а большею частью хотели угадывать изменения в лице, и потому всегда оставались холодными, не производили того глубокого впечатления, как Леонардо.

И не только в живописи и в скульптуре, совершенно во всем, за что ни брался этот великий человек, оригинальность, независимость его взгляда заставляла его находить много нового и открывать истины, которые никому еще не приходили в голову.

Двенадцать веков сряду ум человеческий коснел в невежестве; люди верили самым противоестественным сказкам, и вдруг молодой человек решился сказать: «Не стану верить ничему, что написано обо всех науках и знаниях человеческих. Открою сам глаза, рас-



смотрю все, чему мы учимся, и буду верить только тому, что сам увижу. Прошу моих учеников не верить мне на слово».

Это — изречение одного из величайших мыслителей на свете, Бэкона.

Но еще за сто лет до Бэкона, Леонардо Винчи написал тоже самое, только что не напечатал, и оттого на современных ученых не имел того влияния, какое имел Бэкон. Леонардо Винчи говорит:

«Толкователь дел природы есть опыт; он никогда не обманывает. Суждение наше иногда само обманывается. Кто в изучении наук, касающихся природы, советуется не с природой, а с писателями, тот не дитя природы; он разве только ее внук».

В самом деле, она одна может руководить истинного гения. Но — о, легкомыслие людское! Люди смеются над человеком, который учится у природы, а не у писателей, которые — сами ученики природы.

## IX

Последние годы жизни своей Леонардо Винчи провел во Франции, при дворе короля Франциска I и умер шестидесяти семи лет от

роду, в 1519 году.

Никогда, может быть, не бывало на свете человека, в котором соединилось бы в такой высокой степени столько разнообразных достоинств. Все его любили, всякий находил необыкновенное удовольствие проводить с ним время.

Но несчастье Леонардо Винчи состоит в том, что он не знал одного, очень простого замечания. Замечание это состоит в том, что человек может сделаться великим только в таком случае, если всю свою жизнь посвятит одному роду занятий. Много знать — ничего не значит: ему не доставало глубокой страсти к одному какому-нибудь искусству. Теперь это всякий знает; но долгое время Леонардо Винчи один служил примером для опровержения этой истины.

Леонардо сделал судоходными несколько рек и усовершенствовал много каналов; он открыл причину пепельного света луны и синего цвета теней, он сделал колоссального коня в Милане, написал свою картину «Тайная Вечеря», кончил трактат о живописи и о физике, устраивал механических птиц, которые

летали, и четвероногих, которые ходили сами собою, открыл законы трения в машинах, законы дыхания в животных, законы воздушной перспективы, продолжительность ощущений зрительного нерва, и еще множество важных предметов. После всего этого он мог себя считать (и в самом деле был) первым инженером, первым астрономом, первым живописцем, первым скульптором своего века. Но вслед за сим явились Рафаэль, Галилей, Микель-Анджело и пошли гораздо дальше его, каждый по своей части. Леонардо Винчи, один из прекраснейших цветков, какими только может гордиться человечество, не остался первым ни в одном роде.



# V ОЛИМПИА ФУЛЬВИЯ МОРАТА

## Картина нравов XVI столетия

Со смерти Карла Великого, который сильно заботился об образовании своих подданных, то есть, с начала девятого столетия, в продолжении пяти с половиною веков, было в западной Европе много людей ученых, но все знания их редко проявлялись за стенами монастырей; трудами их никто почти не пользовался, так что науки как будто бы вовсе не было. Земледельцы работали на полях, а рыцари не знали других наслаждений, кроме пиров и турниров; у людей необразованных наслаждения грубы, как они сами. Все знания рыцарей состояли в уменьи кое-как подписать свое имя под деловую бумагой, которой они не умели разобрать. Сколько-нибудь грамотные дельцы из среднего класса народа управляли их именьями, как хотели, и мало-помалу образованность деловых людей возвысила их так, что они сделались

необходимыми советниками во всех важнейших государственных делах. А между тем рыцари думали только о том, чтоб иметь великолепный костюм, красивых лошадей, блестящее вооружение. Было тоже в большой моде — уважать женщин; но, как всякая мода, это было только в песнях и романах. В обществе женщины не принимали участия, потому что рыцари собирались только для пиров, где вино играло очень важную роль; а в домашней жизни участь женщин была — самая жалкая. Впрочем, это очень понятно: женщина тогда только занимает почетное место в обществе и пользуется уважением и любовью, когда, во-первых, сердце ее образовано, а во-вторых, когда образован и ум.

В это печальное время средних веков, ум и чувство большей части людей были в каком-то усыплении. Конечно, мысль не могла не работать; но наука, будто во сне строила какие-то мечты, не заботясь о вероятности и не поверяя их на деле. Тогда занимались и художествами; но, в живописи, люди представлялись не в виде людей, а под какими-то установленными, ни на что не похожими форма-

ми; в скульптуре люди изображались уродцами, а животные, в мудрено-запутанных арабесках, были такие, каких никогда не бывало на свете.

Наконец, как-то вошли в моду занятия древностями; тогда, по крайней мере, богатые люди стали находить удовольствие не в одних только пирах и турнирах. В четырнадцатом столетии два итальянские писателя, Петрарка и Боккаччио, особенно старались отыскивать сочинения древних латинских и греческих писателей. Петрарка заказывал списывать сочинения, хранившиеся в монастырских библиотеках Италии, Франции, Англии, Испании, Греции, и тратил на это большие деньги. В путешествиях он не пропускал ни одного монастыря, чтобы не порыться в его пыльной, иногда совершенно заброшенной библиотеке. Вот какое известие помещено в одном из его писем:

«Когда мне было двадцать пять лет, во время путешествия моего по Швейцарии и Нидерландам, я остановился на несколько времени в Люттихе[6], потому что слышал о тамошнем богатом собрании книг. И в самом

деле, я нашел там две речи Цицерона, которых до того не знал; от меня они разошлись по всей Италии. Одну списал я сам, другую — один мой приятель. Только мне стоило ужасных трудов — достать сколько-нибудь чернил в этом варварском городе, да и те, которые достал, были желты, как шафран».

Таким образом, из пыли библиотек спасено было множество сокровищ; а если бы кто-нибудь позаботился об этом раньше, то добыча была бы еще несравненно богаче. Петрарка рассказывает, что в ранней молодости своей видел такие сочинения Варрона и Цицерона, которые после пропали и — так и не нашлись во всю его жизнь, сколько он их ни искал.

Новая мода пошла в ход и была принята с такою охотой, что в Италии, где тогда было множество мелких владений, не было почти ни одного князя, ни одного богатого человека, который не старался бы научиться латинскому и греческому языкам. Ученые были тогда в большом почете, и богатые люди всячески старались привлекать их к себе. Прежде пышность состояла в устройстве великолепных

праздников и турниров, а тут — пышность стала выказываться в заведении академий, ученых обществ и в откапывании из земли обломков древних скульптурных произведений. Особенно много услуг в этом отношении оказали владельцы Флоренции, Медичи. Во Флоренции была основана Платоновская Академия, члены которой занимались больше всего изучением и объяснением сочинений Платона, знаменитого ученика Сократа. Еще долго после основания Академии, члены ее каждый год праздновали 7 ноября, как предполагаемый день рождения и смерти своего великого учителя.

Мелкие итальянские владельцы старались перещеголять друг друга в поощрении наук и искусств, и между другими, Феррарские герцоги занимают не последнее место. Феррарский герцог Геркулес II, из фамилии д'Эст, особенно любил ученых и древности; он сам отлично писал в прозе и в стихах, и собрал любопытную коллекцию древних медалей. Знаменитый писатель Ариост жил тогда в Ферраре и был превосходно принят при дворе Геркулеса II; а в богатую библиотеку ученого



Ариоста ходил иногда читать и делать выписки другой поэт, секретарь герцогини, Бернардо Тассо, отец великого поэта Торквато Тасса.

Это было самое блестящее время для итальянской литературы.

В Ферраре, при детях герцога Альфонса, в XVI столетии, учителем был известный в то время ученый Фульвио Морато, который тоже читал и публичные лекции. У него была дочь, Олимпия, родившаяся в Ферраре, в 1526 году. С тех пор, как она начала только лепетать первые слова, она слышала разговоры и слова только на латинском, или на греческом языке и первые ласки отца звучали в ее ушах по-латыни. Очень скоро выучилась она говорить на этих двух языках, точно так же, как в наше время дети скоро и легко научаются английскому, французскому и немецкому языкам. Как только наступила ей пора учиться, отец только и делал, что читал с нею латинских и греческих писателей и беспрестанно разбирал с нею то философские рассуждения Платона, то сказочные предания Гомера, то красноречивые разглагольствования Цицерона, то грациозные картины Вергилия. Скоро

имя ее сделалось известным, и на двенадцатом году она уж удивляла ученых множеством и разнообразием знаний.

Она в тоже время не упускала из виду скромных домашних занятий, и хоть было иной раз очень жаль, однако ж оставляла *Превращения* Овидия, для того, чтобы идти считать грязное белье и забывала на минуту языческий Олимп, чтобы заштопать себе чулки.

В это время воспитывалась тоже и дочь герцога Феррарского, Анна. По тогдашней моде, она знала древние языки и в том возрасте, когда у нас дети только начинают лепетать о попрыгунье стрекозе, которая лето целое пропела, она читала уж длинные отрывки из Демосфена и Цицерона и переводила басни Эзопа. Ей не доставало только подруги, чтобы делить с нею свободное время, а иногда чтобы стараться догнать ее в знаниях. Герцогиня мат слышала так много об Олимпии Морате, что взяла ее к себе во дворец, и обе девушки Анна и Олимпия, скоро подружились.

Тогда началась для Олимпии другая, новая жизнь. Домашние заботы о настоящем уж не

мешали ей заниматься древностями, и успехи ее стали еще быстрее. Обе ученые подруги слушали лекции своих профессоров и сверх того принимали участие в поэтических и ораторских праздниках, которые давались герцогом; тут Олимпия торжествовала: она читала наизусть отрывки из Цицерона и других писателей, объясняла их, а иногда читала и свои собственные сочинения, как напр. похвальное слово Муцию Сцеволе, на греческом языке, сохранившееся до нашего времени. Конечно, тогда слушатели осыпали ее похвалами; но до нас дошли эти похвалы в записках современников. Вот что пишет, между прочим, один из них: «Тогда она декламировала по латыни, без приготовления говорила речи погречески, объясняла мысли величайшего из ораторов и отвечала на всевозможные вопросы».

Другой свидетель, с обыкновенною в то время напыщенностью, хвалит богатство ее мыслей и чистоту языка, «в котором она полными горстями рассыпает грацию и нежность». — «Девушки твоих лет, — говорит он, — любят собирать весенние цветы и пле-

сти себе из них тысячецветные венки; но ты срываешь цветы не однодневные, а в саду муз набираешь бессмертные венки, которые никогда не вянуть, но хорошеют с годами и каждый день цветут все лучше и лучше».

Почти все писали в то время такими вычурными фразами; точно так в детстве писала и сама Олимпия. Но потом, когда ей минуло шестнадцать лет, у нее стал заметен свой особенный характер; она стала меньше подражать, но — не в духе того времени было — писать проще. Вот например перевод одного из ее греческих стихотворений:

«Никогда один и тот же предмет не прельщает сердца смертных; никогда Юпитер не дает людям одинаковых вкусов. Кастор умеет укрощать лошадей, а Поллукс — лучше умеет бросать медный круг, хотя оба — дети Юпитера и Леды. Я тоже, хоть и женщина, оставила ткацкий станок, веретено, нитки и корзины. Я люблю только цветистые луга, посвященные музам, да Парнас двувершинный с веселыми хорами. Другим женщинам, может быть, нравятся другие удовольствия; но поэзия — моя слава, мое блаженство».

Конечно, всякий знает, что у древних Греков Юпитер считался повелителем всех прочих богов и людей, что в древности, кроме беганья, прыганья, борьбы, между другими гимнастическими упражнениями, было еще искусство бросать высоко вверх и вдаль медный круг. Всякий читал баснословный рассказ о том, как братья близнецы, Кастор и Поллукс, участвовали в знаменитом походе Аргонавтов, как Поллукс был бессмертен, а Кастор — нет, и потому был убит. Известно, что Поллукс просил своего отца, Юпитера, сделать бессмертным убитого брата, а тот разделил им бессмертие пополам, так что они стали жить и умирать поочередно. Юпитер превратил их в звезды и взял на небо, где они и составили созвездие Близнецы. Две звезды, известные теперь под названием Кастора и Поллукса, показываются поочередно: должно быть, поэтому-то и выдуманна вся басня.

Все это очень хорошо известно; но не следовало людей называть не просто — людьми, а смертными, не надо было толковать о ткацком станке и веретене, тогда как Олимпия никогда не пряла и не ткала, и гораздо проще

было бы поэзию назвать поэзией, а не цветистыми лугами, посвященными музам.

Между тем, как при дворе Геркулеса II устраивались такие литературные праздники, в Европе начала разыгрываться реформация и стала проникать даже в Италию. Кальвин, бежавший из Парижа, был преследуем за свое учение в Ангулеме, в Нераке, скитался по разным городам и несколько времени прожил в Ферраре, где тоже успел распространить недоверие к папской власти и некоторые другие правила своего нового учения. Все семейство Олимпии приняло его убеждения.

После смерти старика Морато, отца Олимпии, подруга ее, Анна, герцогиня д'Эст, вышла замуж, а сама Олимпия впала в немилость при Феррарском дворе. Тогда на руках у нее осталась больная старуха мать, три сестры и маленький брат. Она поняла свои обязанности и стала выполнять их с большою любовью; сама хлопотала обо всем хозяйстве, сама с утра до вечера занималась образованием брата и беспрестанно присматривала за больною матерью. В то время ей было только двадцать два года.

После великолепной жизни в герцогском дворце, среди роскоши, удовольствий и льстивых похвал, ей пришлось жить в крайней бедности, терпеть обиды, унижение; придворные мстили ей за то, что она прежде так высоко стояла. В таких печальных обстоятельствах, ей всего нужнее были утешения веры, и она с увлечением предалась благоговейным размышлениям. Но самые тяжелые, страшные испытания были еще впереди.

Олимпия вышла замуж за молодого германского доктора, Грунтлера, который приезжал в Феррару оканчивать курс учения, и должна была вместе с ним ехать в Германию. В Италии нельзя было им жить, во-первых потому, что в те времена еще не было истинно христианской веротерпимости, и в Ферраре герцог преследовал всех приверженцев нового учения; а сверх того Грунтлер надеялся, при помощи некоторых покровителей, найти себе в Германии место и занятия, чтобы было чем жить.

Приехали в Аугсбург. Этот город знаменит в истории реформации и в истории возрождения наук. Там жили два простые купца, бра-

тъя, по фамилии Фуггер; они разбогатели торговлей и все свое богатство употребляли на покровительство литературы и художеств. Дом Фуггеров был самый великолепный и огромный в Аугсбурге, и вот каким образом описывает его современник.

«Там множество драгоценных картин величайших итальянских живописцев и превосходное собрание портретов германского художника Луки Кранака. Но всего удивительнее в этом доме — собрание памятников древности, мозаик, медных и бронзовых статуй. Там попадаются изумленному зрителю все божества Олимпа: Юпитер с своими перунами, Нептун с трезубцем, Паллада с эгидой [7]. Это диковины первой галереи. В другой комнате — собрание медалей подобранных с большим знанием; тут одна только статуя, волшебницы Цирцеи: она лежит на белом мраморном пьедестале, опершись на одну руку, и смотрит, как вокруг нее бродят несчастные, которых она обратила своими чарами в животных. Дальше — Диана, Минерва, Аполлон. Диво, что эти статуи так хорошо сохранились в продолжении стольких веков. А облом-



ков, собранных в этом музее — бесчисленное множество. Невозможно насмотреться на голову бога сна, с закрытыми глазами, увенчанными маком. Говорят, что все эти драгоценности собраны за огромные деньги во всех краях Европы, а особенно в Греции и в Сицилии. Раймонд Фуггер жертвует огромными суммами: так он любит древности».

Братья Фуггеры слыхали об Олимпии Морате, с восторгом читали некоторые из ее стихотворений и потому приняли ее с мужем необыкновенно ласково. Но прожив там месяца три, надо было ехать дальше потому что Грунтлер не нашел там себе места. Пробыв еще несколько времени в Вюрцбурге, они приехали на родину Грунтлера, в Швейнфурт, где он получил наконец место лекаря при войсках, там расположенных.

Между тем война за реформацию разгоралась и охватила тогда почти всю Европу. Французский король поддерживал в Германии ту партию, против которой действовал в своем государстве, и захватывал чужие земли, турки врывались в Венгрию, и после смерти Лютера по всей Германии шли междоусоб-

ные войны. В то время на престоле российском был царь Иоанн IV Васильевич.

Между людьми, преданными власти папы и германского Императора, был замечателен маркграф Альберт Бранденбургский. Он был необыкновенно храбр, умен, ловок, неутомим, превосходно знал военное дело; но в то же время был человек без правил, без веры; грабил и разорял страну, в которой воевал, и продавал свои услуги тому, кто больше даст. Реформация была для него поводом к войне. После нассауского мира, неприязненные действия кончились; но Альберт Бранденбургский, может быть втайне подстрекаемый германским императором, не признавал этого мира, захватил Швейнфурт, укрепился в нем и оттуда устремлялся в разные стороны, опустошая и разоряя окрестности на обоих берегах Майна. Соседние владельцы вышли из терпения и осадили его в Швейнфурте. Несчастные жители города должны были выдержать все ужасы опустошительной осады в такой ссоре, в которой они вовсе не участвовали.

Осада началась в апреле 1553, и продолжалась четырнадцать месяцев. Множество пу-

шек и день и ночь громило стены города. Жители и дома не были в безопасности. В промежутках битв на городских стенах, свирепые толпы бегали по городу, врываются в дома и брали с мирных жителей деньги за то, будто бы, что маркграф Альберт их защищает и им покровительствует. К довершению несчастья, в городе еще открылась зараза; после нее — голод, и мирным жителям оставалось — умирать от голода или заразы, или от оружия защитников. А зараза была страшная: от нее вымерла половина города.

Среди всех этих ужасов, Олимпия, подкрепляемая теплою верой и горячею молитвой, не упала духом. Но ей пришлось собрать все свои силы, когда захворал ее муж, не щадивший себя, чтобы помогать больным. Скоро однако ж он начал поправляться, а осада еще ожесточилась.

Простояв понапрасну девять месяцев под стенами Швейнфурта, осаждающие привели себе на помощь свежего войска и с тех пор артиллерия не умолкала ни на один час. Ночью огненный дождь падал на город, и в домах уже не было безопасно. Олимпия с своим млад-

шим братом и едва выздоравливающим мужем прожила несколько недель в погребе.

Наконец Маркграф Альберт, после четырнадцати месячной отчаянной борьбы, совершенно истощил свои силы и уж ясно видел, что долее сопротивляться нет ни малейшей возможности. Он решился пробиться сквозь войско осаждающих и потом пополнить свои силы тысячами бродяг и праздных людей, которыми война наполнила Германию. Он вышел из города ночью, и жители были в восторге; но не надолго была их радость; часть победителей отправилась преследовать беглеца, а остальные вошли в беззащитный город, разграбили его дотла и во многих местах зажгли.

Ожесточение победителей было беспощадное: несчастные жители кинулись к городским воротам, но были отброшены оттуда в средину пылающего города; многие готовились к неизбежной смерти в своих собственных домах; многие на коленях испрашивали помилования; иные бежали в церковь, надеясь, что там по крайней мере, христиане пощадят христиан. Грунтлер и Олимпия броси-

лись тоже к храму; но какой-то незнакомый солдат подошел к ним и сказал, чтоб они бежали из города, если не хотят погибнуть в его пепле. Они последовали за своим неизвестным избавителем, который большими обходами счастливо вывел их за городские стены, и они уж не видали, как с страшным грохотом обвалились дома, и как все несчастные, искавшие спасения в храме, погибли в дыму, в пламени и под развалинами.

Но несчастья еще не кончились. В нескольких верстах от города на них напала шайка грабителей, обобрала у них все, что оставалось, и отпустила на все четыре стороны — в рубище. После всех этих потрясений, Олимпия захворала и потом во весь остаток своей жизни не могла совсем поправиться: все страдала лихорадкой.

Изнуренная болезнью, голодом и страхом, добрела она кое-как до Гаммельбурга; на ней было чужое платье, все в лохмотьях, данное ей какую-то бедною крестьянкой, которая сжалилась над ее несчастным положением. Жители Гаммельбурга не смели принимать нищих беглецов и настаивали, чтобы они

шли назад, в Швейнфурт.

Положение было отчаянное. Наконец граф Эрпах узнал, кто эти нищие, и давно зная Олимпию по ее сочинениям, дал им приют в своем великолепном замке. Сама графиня ухаживала за больною, давала ей лекарства и поставила на ноги. Наконец Грунтлер получил место профессора медицины в Гейдельбергском университете и перебрался туда вместе с Олимпией, которая в том же университете начала читать лекции греческого языка и литературы. Слушатели особенно усердно посещали ее оживленные, увлекательные лекции; но она должна была скоро отказаться от них, потому что лихорадка ее не покидала.

В Гейдельберге жила она очень бедно и беспрестанно хворала; но не очень долго: через год после несчастного своего бегства из разоренного Швейнфурта, она умерла на двадцать девятом году от роду. Вот обстоятельство, которое особенно верно показывает ее характер и вообще направление тогдашних ученых: за несколько дней до своей смерти, она написала письмо одному из своих старых друзей, оставшихся в Италии и, как обыкно-

венно на латинском языке. Накануне смерти, она потребовала, чтоб ей подали это письмо и собралась его поправлять; но уж не могла...



# VI УИЛЬЯМ ШЕКСПИР

Современники так мало занимались Шекспиром, или так хорошо знали все, что до него касалось, что ни в каких записках не оставили нам сведений о частной жизни великого поэта. Много писали о таких лицах, которые вовсе не важны, а о Шекспире ничего. Даже его сочинения дошли до нас в очень неисправном виде, так что подлинность и верность некоторых мест сомнительнее, нежели текст некоторых древних греческих писателей, тогда как после смерти Шекспира не прошло еще двухсот сорока лет. Неизвестно даже, как следует писать его Фамилию: Shaxpeare, Shackspeare или Shakspeare, или еще как-нибудь иначе. Но для нас это все равно, потому что правописание фамилии не имеет никакого влияния на достоинство его сочинений.

Говорят, что Шекспир происходил от хорошей фамилии, но и это для нас не важно, если бы даже это известие и было несомненно.



Верно только то, что отец знаменитого поэта жил в Стратфорде, в Англии, и торговал перчатками.

Некоторые биографы, чтобы Шекспиру не было постыдно ремесло отца, говорят, что в то время торговля перчатками была не то, что теперь; что тогда в половине XVI века, перчатки были гораздо роскошнее нынешних, вышивались золотом, серебром и раздушивались. В архивах присутственных мест найдено, что у Шекспира отца был процесс, что к концу своей жизни он разорился, был совершенно бедный человек. Но понятие бедный, очень относительное, и сколько есть людей на свете, которые считают себя бедными потому, что у них не достает денег на покупку новой коляски в нынешнем году, и приходится ездить в прошлогодней, которая устарела и вышла из моды. А по уцелевшим архивам тех времен видно, что отец оставил Шекспиру сыну два дома в Стратфорде, и оба с садами.

Отец Шекспира был неграмотный; до сих пор хранится какой-то документ, под которым, вместо подписи его, стоит не очень замысловатый крючок. Поэтому очень может

статься, что он не очень заботился об образовании своего сына, так что если он и учился, то только в частной школе в Стратфорде, и учился недолго. Знаменитейшие биографы Шекспира несогласны в этом отношении: некоторые говорят три года, некоторые полагают шесть лет. Как бы то ни было — довольно верно то, что отец взял Уильяма из школы, чтобы держать его при себе и чтобы он привыкал к торговле. Четырнадцати лет он сидел уж в лавке, и — больше нет никаких сведений о его детстве.

Некоторые биографы говорят, что отец Шекспира торговал тоже мясом; но это ничем не подтверждается, и почти ничего не известно, что делал Шекспир во все время, которое прошло от выхода его из школы до отъезда в Лондон, то есть до двадцать второго года. Есть только положительные сведения, что в этот промежуток времени он женился, на девятнадцатом году, а в Лондон уехал вследствие очень неприятной истории.

Как человек еще очень молодой, он сдружился с людьми не очень хорошего поведения, с браконьерами, которые без зазрения

совести стреляли ланей, водившихся в парке и во всех владениях одного богатого человека, Томаса Люси. Попав в это общество, Шекспир тоже стрелял чужих животных, а хозяин земли, узнав, кто истребляет его зверей, стал преследовать поэта судом. С досады на это преследование, Шекспир, написал на Люси насмешливую балладу. Самая баллада теперь затеряна: но, как видно, она была довольно удачна, потому что дошла до Люси, который стал преследовать его втрое сильнее, так что Шекспир должен был оставить семью и все свои дела в Стратфорде, и искать убежища в Лондоне.

Там он определился при театре, и, по всем вероятностям, играл сначала самые ничтожные роли. Об этом времени жизни Шекспира рассказывается множество сказок. Так, например, будто Шекспир служил за сценой для выкликанья актеров, которым приходила очередь выходить на сцену. Еще другая сказка повествует, будто Шекспир приехал в Лондон в самой нежной молодости и что сначала стерег у театрального подъезда верховых лошадей тех господ, которые съезжались на

представления. Тут сочинено было, будто один важный лорд, которого лошадь стережет юный Шекспир, пленился грациею и добродушным видом мальчика и стал ему покровительствовать, будто он ввел Шекспира в общество богатых лордов и леди, и все были в восторге от ума и любезности маленького Уильяма. Теперь уже всему этому нельзя верить; но очень естественно, что когда нет никаких данных о молодости великого человека, то по поводу его сочиняются сказки. Открыты документы, доказывающие, что Шекспир приехал в Лондон двадцати двух лет, что тогда он был уже отцом семейства. Открыт еще контракт 1589 года, из которого видно, что Шекспир был сам один из владельцев того театра, где по рассказам, он служил только для выкликанья актеров. Очень может быть, что сначала в Лондоне он занимал ничтожные роли, но вероятно скоро возвысился своим талантом, потому что вошел в долю с владельцами театра, не больше как через три года после своего приезда.

Нельзя даже предположить, чтобы Шекспир, как говорят некоторые биографы, в пер-

вый раз увидел сцену в Лондоне: жители Стратфорда, его родины, всегда были большие любители театра, и туда непременно каждый год приезжала странствующая труппа, так что Шекспир с самого детства понимал, что такое театр и что нужно для хорошего театрального представления.

Во времена Шекспира театр был не то, что нынче. Все театры были деревянные, некоторые под крышей, а в некоторых зрители помещались под открытым небом, от дождя же была защищена только сцена; во время представления поднимался на крыше флаг. Внутреннее устройство здания было такое же, что и нынче. Там, где теперь помещаются кресла, в некоторых театрах были скамейки, в других не было ничего, кроме не совсем гладкого пола, так что зрители должны были наслаждаться пьесой стоя. Были также и ложи в несколько ярусов; там бывали зрители только высших классов общества.

Как только оркестр начинал играть в третий раз — представление начиналось. Занавес тогда не поднимался, как у нас, не опускался, как у древних Римлян, а раздвигался с

средины в обе стороны на железных прутах. Пол на сцене бывал обыкновенно покрыт тростником, вероятно представляющим траву. Подвижных декораций не было. На самой сцене, на видном месте, висела на шесте доска с надписью, которая означала то место, где происходит действие. Иной раз, когда нужно было, по нашим понятиям, переменить декорации, актер только просил зрителей, чтоб они представили себе, будто он уж не там, где был, а совсем в другом месте. Когда на сцене стояла кровать, это значило, что действие происходит в спальне; стол с тарелками означал столовую, а стол с бумагами — контору.

Бывали в театрах иногда очень дорогие костюмы: мужчины обыкновенно в париках; женские роли исполнялись мальчиками, или молодыми людьми, игравшими эти роли лет двадцать. Впрочем, они надевали иногда маски.

Необходимую принадлежностью каждого представления был шут или клоун. Его дело состояло в том, чтобы забавлять или смешить зрителей (что не одно и то же) в промежутках между действиями, и даже во время самого

представления. Шуты были тогда в моде в целой Европе; в каждом богатом доме было непременно по шуту, которому дозволялось иногда ужасно грубо шутить и говорить в глаза всякую правду. На сцене шут иногда старался быть забавным сам по себе, иногда делал замечания на игру актеров и даже прерывал их монологи. Иногда антракты обходились без шута, но тогда непременно бывали танцы, пение.

Для такой-то бедной по своим средствам сцены должен был работать Шекспир. Он чувствовал, конечно, что в сочинениях тогдашних писателей множество недостатков, и потому стал их исправлять и переделывать для своего театра. В его время, это было еще можно делать, потому что литературная собственность не была еще так строго признаваема, как в наше время. Без всякой церемонии, он брал чужие пьесы и переделывал их по-своему; только тут было не так, как с ланями сэра Люси: ланей он убивал, а драмам давал жизнь. Однако ж это не нравилось тогдашним писателям, и один из них сказал о Шекспире: «Вот явилась выскочка ворона в наших

перьях; тщеславный и хвастливый, единственный *Shakscene*[8] всего края».

Еще не пытаясь писать оригинальные драмы, Шекспир написал небольшую поэму: *Венера и Адонис* и еще другую — *Похищение Лукреции*, изданные в 1593 и 94 годах. Оба эти произведения довольно скучны и слишком длинны: Шекспир еще не попал на настоящую дорогу. После он написал еще много сонетов; они теперь не имеют никакой цены. Но всего важнее для всех литератур на свете — его драматические сочинения.

Когда теперь, на великолепной сцене, обставленной превосходными декорациями, в костюме, очень верно приноровленном ко времени, актер поражает нас естественностью своей игры, и мы не можем оторваться глазами и душою от хода драмы, — ничего нет мудреного: обман глаз и воображения совершенный. Но Шекспир очаровывал всех и на своей бедной сцене, где столб представлял дерево, а какой-нибудь Менений Агриппа или Тит Андроник являлся на сцену в большой круглой шляпе с пером, в сапогах, с раструбами и со шпорами. Но могущество таланта так



велико, что, не смотря ни на какую бедную обстановку, он умел

*To make the weeper laugh, the  
laugher weep,*

т. е. умел заставить смеяться того, кто плачет, и плакать того, кто смеется. Содержание пьес Шекспира очень часто неправдоподобно, попадают совершенно фантастические произведения; в некоторых драмах есть грубые географические ошибки, напр. в одной драме у него Богемия на берегу моря; но все эти недостатки совершенно забываются при чтении его великих произведений. У него во всех почти драмах столько ума, столько остроумия, самой добродушной непритворной веселости, рядом с самыми ужасающими сценами жестокости, страданий и несчастий, что он играет сердцами своих зрителей, как хочет. Есть у него страницы такие чистые, такие прелестные, так далекие от всего нечистого, что ни есть на свете, до такой степени блестящие игривою веселостью, что выразить невозможно. Должно быть, Шекспир был в самом чистом восторге счастья, когда вообра-

жение его кипело такими искрами вдохновения.

Он умер на родине, в Стратфорде, 23 апреля 1616 года, в день своего рожденья, когда ему было ровно пятьдесят два года.



# VII

## ОСАДА ТРОИЦКОГО СЕРГИЕВА МОНАСТЫРЯ (от 23 сент. 1608 до 12 янв. 1610 г.)

Страшно рассказывать и слушать страшно, что делалось с православною Русью лет двести сорок тому назад, когда не стало древнего царского Рюрикова рода.

В ту пору хищные звери, чужеземцы, вломились к нам в Русь и стали резать народ, жечь города, грабить храмы Божии. Народ разбежался, избаловался, привык к бродяжничеству, к своевольству, и грабил свою же родную сторону, вместе с изменниками и Ляхами. А наши изменники были свирепее самых ужасных врагов. Когда Ляхи брали в плен верного и храброго воина, то всегда уважали его и берегли; а если такой честный воин попадался изменникам, то они кидались на него, как на лютого зверя, и рубили его по суставам на части. И видели Ляхи у нас такие пытки и муки своим от своих, и отступали в

ужасе, и дивились, и бежали от таких страстей, и говорили: «Что же нам будет от России, когда они и друг друга губят с такою люто-стью![9]». А как, бывало, Ляхи с изменниками придут к какому непроходимому месту, к реке, к топи, к болоту, и без ума станут Ляхи: не знают как быть, что делать; а изменники тотчас и мосты поставят, и перевозки устроят, переведут Ляхов, сами — за ними, да и пойдут грабить и жечь города и села. Пировали там, где стыла теплая кровь, веселились среди мертвых тел; честных людей, кто попадетя, замучивали до смерти, бросали с крутых берегов в глубокие реки, расстреливали из луков и самопалов; мучили родителей, в глазах их жгли детей, носили головы их на саблях и копьях, грудных младенцев вырывали из рук матерей и разбивали об угол. В старом жилье человека стал жить зверь: города запустели и заглохли, и там, где спокойно и счастливо при Царях жили люди, завелись медведи и волки, лисицы и зайцы; вороны черными стаями сидели на трупах, а мелкие пташки вили гнезда в выеденных черепах человеческих. По ночам не месяц светил на леса и поля, а

пожары, и не было спасения в самых густых чащах: люди ходили туда с чуткими псами на ловлю людей; матери залезали с детьми на деревья и прятались в ветвях; а как дитя станет плакать от голоду и холоду, то зажимали ему рот и, впопыхах и страхе, душили до смерти, чтоб на крик его не сбежались изменники. Словно кровавое море бушевала несчастная Русская земля от безначалия и измены. Однако ж на этом море были твердые острова: сама Москва, Троицкий Сергиев Монастырь, Коломна, Переславль Рязанский и другие города. Не поддавались они изменникам и не слушали увещаний самозванца, Тушинского вора.

Тут царь Василий Иоаннович Шуйский послал к Шведскому королю послов, просить помощи против Ляхов и изменников. Испугался этой помощи Тушинский вор, да и стал звать к себе в помощь разбойника пана Лисовского, что разорял тогда землю Рязанскую, Владимирскую и Нижегородскую. И двинулись изменничьи ватаги от Владимира и Переславля, пошли, как огненный поток, все на пути жгли, грабили и резали, шли скоро, шли,

да и ударились о твердыни Сергиева Монастыря. Стоит монастырь среди гор и оврагов, окружен каменной стеной в три сажени толщины и в четыре вышины; на стене восемь башен с бойницами, кругом ров глубокий, а по южной и западной стороне вьется речка Кончура. В монастыре заперлись иноки и войска, и далеко во все стороны от них — ни прохода, ни проезда вражеским шайкам. Гонца ли куда пошлют враги, — монастырские слуги поймают его и грамоту отнимут; хлеба ли мало в Москве — обитель пошлет в Москву и хлеба и денег; разбойничает ли где вражеская шайка — иноки побьют разбойников. Ударился пан Лисовский о монастырские твердыни, да ничего не мог сделать; только выжег кругом все села и ушел. А православные все понемножку разоряют врагов и вредят им жестоко. Осердились враги и говорят самозванцу:

«Доколе же нам терпеть свирепую кроважадность этих *воронов, гнездящихся в своем каменном гробе!* Они не только перехватывают на дорогах вестников наших, но и предают их лютой смерти. Они ждут князя Михаи-

да Скопина с Шведами, да Федора Шереметева с понизовскими людьми: тогда будут сильны. А теперь только пусть повелит твое благородие смирить их, а если не покорятся, то рассыпдем в прах их жилище[10]!»

После этого, 23 сентября 1608 года, к Троицкому Сергиеву монастырю подошла по московской дороге ватага в тридцать тысяч Ляхов, казаков и русских изменников. Войско это было не войско, а так, сброд всякого народа, разбойничьи шайки, и правили ими гетман Сапега и пан Лисовский. Им хотелось разграбить монастырь богатый золотом, серебром, драгоценными камнями и хлебными запасами.

Военной силой в монастыре правили воеводы Князь Григорий Долгорукий и Алексей Голохвастов. Только что завидели они разбойничьи ватаги, — вышли им прямо навстречу, просто, чтоб посмотреть, много ли врагов, да чтоб показать, как Русские умеют отстаивать веру, отечество и обитель Святого Сергия. Закипело страшное побоище; наши дрались славно и не отступали ни на шаг; надо было долго держаться, чтобы дать всем жителям

монастырских слобод сжечь свои дома и перебраться с семействами в монастырь. После того они и сами возвратились в обитель.

На другой день вражеские ватаги обошли монастырь со всех сторон, осмотрели места и стали ставить свои палатки, и строить укрепления, и расставлять пушки. Заняли так все дороги, что от них ни проходу, ни проезду не стало к обители.

Осадные воеводы — князь Долгорукий и Голохвастов привели всех своих людей к крестному целованию и постановили биться до самой смерти, а обители святого Сергия не выдавать. Потом разделили стены на участки и к каждому участку приставили особую дружину, чтобы всякий знал свое место и защищал свою стену.

А в обители была ужасная теснота. Надеясь на крепкую защиту, народ сбежался со всех сторон, так что места не было в келиях. Время настало осеннее, дождь, слякоть, а укрыться некуда; народ жался, где попало; больные женщины лежали на ветру и дожде. Все, что можно было взять камней и дерева, было взято; народ понаделал кое-каких шала-



шей, а все половина была без крова. Богатство всякое кучами лежало на дворах и перед церквями, и никто его не трогал, и никто не берет.

Польские и Литовские люди все приготовили к осаде, а потом стали пробовать, нельзя ли хитростью какою взять монастырь. И прислали к осажденным людям грамоты. Пишут, что мы вам добра хотим, отдайте лучше добром свои стены, тогда будто бы царь Дмитрий Иоаннович вас наградит; а добром не отдадите, так знайте, что мы с тем пришли, чтобы не отходить, пока не возьмем монастыря, и тогда всех до последнего перебьем. Такую же грамоту прислали архимандриту Иоасафу. Грамоты были грозные и льстивые. Собрались осадные воеводы и все начальники, посоветовались с архимандритом Иоасафом и послали такой ответ: «Получили мы ваши грамоты, гордые начальники, Сапега и Лисовский, получили и наплевали на них. Напрасно вы прельщаете нас обещанием милостей вашего Лжедимитрия. Что нам за польза полюбить тьму больше света, лож больше истины? Как оставить нам свою святую, истинную

православную христианскую веру Греческого закона и покориться еретическим законам, отпадшим от христианской веры? Ни за что не откажемся мы от своего крестного целования, не отдадим его за богатства всего мира [11]».

Сапега и Лисовский получили этот ответ и пришли в ярость. Тотчас велели они приступить к стенам со всех сторон, поставили пушки кругом монастыря в десяти местах и устроили большие валы со рвами, а за валами ходили пешие и конные люди.

3 октября началась пальба из всех пушек калеными и простыми ядрами. Стреляли целый день, надеясь разрушить стены; но каленные ядра падали в пустые места, а когда попадали в келии, то монахи выносили их вон в лужи. Стены тряслись, местами даже камни сыпались, тесно накопившийся народ ждал смерти, и надеялся только на Бога. Архимандрит Иоасаф приказал всем исповедаться и приобщиться Святых Таинств, чтобы никто не умер без покаяния. А дело было близко к смерти, потому что неприятели стали вести подкопы под угольную круглую башню: хоте-

ли подложить под нее пороху и взорвать, а потом и войти в то место, где была башня.

Видел Сапега, что дело приближается к концу, и потому устроил большой пир на все свое войско. Целый день неприятели пели, играли, пили, скакали на лошадях по полям вокруг монастыря, стреляли, потом к вечеру придвинулись ближе к монастырю и стали опять в него стрелять. А ночью множество пеших неприятелей кинулось к монастырю со всех сторон, с лестницами, чтоб залезать на стены, с большими деревянными щитами, с башнями на колесах, подступили, заиграли в трубы, забили в барабаны, и полезли на стены. А осадное войско не дремало; грянуло на них со стен из пушек и пицалей и билось с ними насмерть. Неприятели, в безумии своем, погубили многих из своих же рядов, и убежали со стыдом от стен, а щиты деревянные и лестницы все так и побросали. А наши поутру вышли из города, забрали все, что они оставили, принесли в обитель и изрубили на дрова.

Во все время приступа и драки архимандрит Иоасаф со всею братиею молился Богу,

возлагая всю надежду на Его заступничество.

Неподалеку от стен обители был капустный огород: капуста росла, да монастырские слуги еще не успели ее собрать. Вот, через неделю после того приступа, 19 октября, Литовские люди забрались в огород, за капустой; а наши как увидели, что их немного, спустились со стен по веревкам, да и кинулись на них: много побили и поранили. Тут же кстати осадные воеводы вылазку сделали с конными и пешими людьми, двумя большими полками, а Литва и русские изменники бросились на них, и с обеих сторон многие пили смертную чашу.

В конце октября воеводы опять вышли из обители с воинством и напали на заставу пана Брушевского. Людей его побили, а самого захватили и привели в монастырь. Там стали его мучить и пытаться всякими пытками и спрашивать, сколько у них народу, и что они хотят делать. Пан Брушевский в пытке показал, что народу у них тысяч тридцать, что воеводы положили не отходить от монастыря, пока не возьмут его, а взять хотят и разорить долгою осадой, частыми приступами и подко-

пами, которые у них уже ведутся.

Тогда богопротивные неприятели, так близко осадили стены, что монастырским людям трудно было выходить за ворота, чтобы почерпнуть воды напиться и скот напоить. И в обители была теснота великая и страх.

Восьмое ноября был самый страшный день. У неприятеля было всего шестьдесят три пушки, он и стал из всех тех пушек палить в обитель. Тогда шел в церковь инок Корнилий; вдруг прилетело пушечное ядро и оторвало ему ногу по колено. Его внесли в церковь, и прежде чем он успел умереть, его причастили Святых Таинств. А стрельба все продолжалась. Одно ядро попало в большой колокол; другое в образ Архистратига Михаила, и пробило доску у левого крыла; третье разбило подсвечник; четвертое ударилось в образ Николая Чудотворца, выше левого плеча. Народ, собравшийся тогда в церкви, обливая помост церковный слезами, молился о помощи и заступлении против Литвы.

У неприятеля была длинная пушка, которая стреляла очень метко и далеко. Стояла она в Терентьевской роце и называлась *Тре-*

*щера.* Воеводы приказали стрелять в эту пушку, а наши пушкари ее и подбили. Стало легче после того, как Трещера замолчала.

На другой день осадные воеводы устроили полки на вылазку и стали потихоньку выходить, еще за три часа до рассвета. Они успели все стать, где кому надо было, когда показалась заря, и когда трижды ударили в осадные колокола, они мужественно бросились на литовских людей, восклицая имя Святого Сергия. Со всех сторон они сбили ближние отряды литовские и погнали врагов, избивая множество их и устилая мертвыми телами свой путь. К счастью, попали они на то место, откуда начинался литовский подкоп под монастырские стены и круглую башню. Надо было его разрушить прежде, чем неприятели успеют довести его до стен. Два клементьевские крестьянина, Никон, по прозванию Шилов, да другой еще Слота, вошли в подземелье, завалили вход в него, да там и зажгли приготовленный порох. Недоконченный подкоп взорвало, не повредив стен, а Никон Шилов и Слота без следа пропали. Целый день была драка ужасная, кровавая, то наши бьют и го-

нят Литовских людей, то Литовские люди бьют и гонят наших. Так и было на Красной горе. Лисовский налег на наш отряд большим полком и погнал его с горы. А в том отряде у нас был один крестьянин села Молокова, по прозванию Суета, большого роста и ужасно силен. Над ним товарищи все подсмеивались, что он воевать не умеет, а тут — откуда взялась храбрость! Он ухватил обеими руками свой огромный бердыш, да и стал, и говорит: «Стой, братцы! Нечего бояться врагов Божиих!» — Да как начал рубить бердышом в обе стороны, и направо, и налево, так и сдержал нечестивый полк пана Лисовского; метался и прыгал в обе стороны, как дикий зверь, и все рубил неприятеля; а за ним укрепился и его отряд и Литовцы ничего не могли им сделать. Беззаконный же Лисовский совался туда и сюда, как бы что злое нам сделать, и поворотил от того места вдоль по горе Красной к косому глиняному оврагу.

День был страшный. Наших побито тогда 174 человека, воинов и иноков, которые тут же ободряли сражающихся и сами сражались; да ранено 66 человек.

Нельзя сказать, чтобы неприятель очень строго держал осаду. Наши каждый день ходили из обители в Мишутинский овраг, в рощу, за дровами, с охраною из конных и пеших людей. Литовцы заметили это и завели много воинов в рощу и засадили там потихоньку. Вот, как наши пошли за дровами, на них и напали. Наши бились изо всех сил, однако дров не могли нарубить и ушли в монастырь. Тут наших убито всего 40 человек, много ранено, а иные в плен попались.

После случилась великая беда: двое детей боярских, из Переславля, Петр Ошушков и Степан Лешуков, на обычной вылазке перебежали к Литовцам, изменили. Пришли они к гетману Сапеге и пану Лисовскому и сказали: «Что дадите нам, если научим как взять Троицкую Сергиеву обитель скоро и без пролития крови?» Злодеи обещали одарить изменников великим именем и возвеличить почестями. Тогда они сказали: «Раскопайте берег верхнего пруда и перехватите в трубах воду. Только из этого пруда в обитель и идет вода через трубы; а без воды все люди изнемогут от жажды и поневоле покорятся вашей храб-



рости».

Окаянные неприятели обрадовались совету изменников и перестали ратовать, отошли от стен подальше и принялись за работу. Окопали валом то место, откуда начинались в пруде наши трубы, чтобы осажденные не видали злоумышленных работ их, и стали копать. Перехватили одну трубу, и в монастырь потекло воды меньше прежнего. Наши не понимали, отчего это вода пошла на убыль, и дивились такому чуду. Однако же нашлись охотники, которые ночью пробрались к тому месту, где неприятели работали, всех их перебили, да еще шире раскопали трубы и ушли. Вода пуще прежнего побежала в монастырь так, что наполнила все тамошние пруды, да еще потекла из обители по другую сторону. Неприятели как пришли по утру, да как увидели, что все их люди перебиты, а в верхнем пруде стало воды мало, бросили работу и ушли.

После того осажденным стало гораздо легче от неприятеля: литовские полки и русские изменники далеко отошли от стен, разбрелись по деревням зимовать, и грабить, где

что можно, только на дорогах расставили сторожевые отряды, чтобы не пускать никого в обитель и из обители. Они оставили свои рвы и ямы выкопанные близ монастырских стен, а наши тогда и воины, и простые люди, выходили всякий день из обители большими толпами или так, чтоб отдохнуть от великой тесноты, или дрова рубить, или на пруды, белье полоскать. Случалось тут иной раз, что набредет на наших толпа Поляков, завяжется драка, и не раз бывало, что наши положат их всех до одного.

Но приступала беда великая, страшная, и разразилась над обителью с 17-го ноября. В этот день умер в монастыре первый больной цынгою, и с тех пор люди стали умирать десятками. Болезнь эта случается от тесноты, от дурной воды, от недостатка свежей и кислой пищи. Ужас напал на всех осажденных, когда больных становилось все больше и больше. Их стало наконец так много, что они лежали в сараях, в подвалах и в землянках одни-одинохоньки, без помощи и призора; некому было промочить водою горячие уста больного, некому было отереть пыль с очей его. Пухнул

сморщенный больной, и расслабившиеся зубы вываливались у него изо рта с кашлем; и никто не приходил омыть его струпы, и еще живого начинали уже точить черви. Здоровые не знали что делать, мертвых ли погребать, или оберегать стены монастырские, или прощаться с умирающими друзьями, которые уж не были похожи на людей, а скорее на груды гнилого мяса, или драться с неприятелем, или целовать очи умирающих родителей, или бежать за стены, искать неприятелей и, убивая их, самому быть убитым. В стенах смерть и за стенами смерть, со всех сторон, от шаек голодных разбойников, которые бродили кругом.

Сначала умирало в день двадцать и тридцать человек, потом стало умирать по пятидесяти и по сто человек в день, и больше, и великий храм Успения Пресвятыя Богородицы каждый день наполнялся мертвыми. Сначала платили по рублю за то, чтобы выкопать могилу, а то стали давать и по два, и по три, и по пяти: но никто не брал, некому было копать, и валили мертвых в одну яму, тел по двадцати, и по сорока. С утра до вечера были

в обители похороны, и ни днем, ни ночью не было покою не только больным, и здоровым. Там плакали над умирающими, там плакали на выносе, и где были люди, там были и слезы, и все бродили как шальные от изнурения и страха неминуемой смерти. В эту осаду и от меча неприятельского и от болезни умерло всего 2125 человек, кроме женщин, детей малолетних и стариков расслабленных. Иноки священнического сана совсем истомились, погребая мертвых и приобщая Святых Таинств умирающих, и полумертвых от усталости и болезни иереев держали под руки, когда они читали над покойниками похоронные молитвы. И был смрад великий не только в келиях, но и по всему монастырю, и в службах, и в святых церквах, и от больных, и от мертвых, и от падающего скота.

А неприятели радовались этим бедам, и с веселием слышали плачь в стенах монастырских и видели беспрестанные похороны. Их немногочисленные шайки смело подходили к стенам, и как камнями, бросали в осажденных дерзкими словами; только спешно уходили, когда из ворот выезжал с возом смирен-



ный безоружный, инок; а на возу том была навалена смрадная, зараженная червями одежда, оставшаяся после покойников. Вывозилась эта одежда и зарывалась в ямы за стенами монастырскими, чтобы спасти от заразы и смерти оставшихся живых.

А живых оставалось уж немного: все больше женщины, да дети; хлеб едят, а помощи от них против неприятеля ожидать нечего, да и за страшными больными куда им ходить! Посоветовались воеводы с архимандритом Иоасафом и написали письмо в Москву, к келарю Авраамию. Старец увидел из письма,

что делается в обители, и ужаснулся. Он представил Царю Василию Иоанновичу все дело и просил скорой помощи; а помощи большой дать было нельзя: сама Москва была в великой беде. Послали всего только атамана Сухана Останкова, да с ним шестьдесят человек казаков, да пороху 20 пуд. Келарь же Авраамий отпустил от себя в обитель еще двадцать человек монастырских слуг.

Люди эти пришли в обитель благополучно; но встретили засаду, которая и отхватила у них четырех казаков. Лисовский велел казнить этих четырех человек перед самыми монастырскими стенами, а на это воеводы, Князь Григорий, да Алексей, велели вывести сорок два человека литовских и польских изменников, и казнили их на горе, над оврагом, да еще вывели девятнадцать человек пленных казаков Лисовского, и казнили их против сторожевого отряда того богопротивного Лисовского, на взгорье, у верхнего пруда. Рассвирепели неприятели, и стали лучше сторожить дороги; никого уж не пускали ни в обитель, ни из обители: так испугались они присланной из Москвы помощи. Осажденные

очень обрадовались свежим людям, да ненадолго: они тоже в зараженных стенах стали изнемогать и умирать, и немного их осталось.

Осада была не тесная: бродячие пьяные ватаги приходили к самым монастырским стенам, человек по десяти, и по пяти, торговать с осажденными; приносили вина и променивали его на мед, и наши часто выходили из обители. Только дело у них редко обходилось благополучно: либо наши, либо Поляки уведут кого-нибудь в плен, а то так просто перессорятся, подерутся, да кого-нибудь и убьют.

Вот раз и пришел к обители один слуга Сапеги, именем Мартьяш — трубачом служил в его войске. Принес вина, стал на обмен его просить крепкого меду; ему вынесли меду, дали выпить, да и захватили. Когда его привели к воеводам, он стал говорить, что любит наших и готов им служить; стал уверять, будто знает все хитрости Сапеги и сказал, что будут делать неприятели завтра и послезавтра. Вот хотели посмотреть, что может быть, он и в самом деле нас любит. Все, что он говорил, так и сбылось. Да еще сказал, что он грамотный и

умеет переводить всякое писание; к тому же он бранил всех своих земляков и смеялся над верою своею будто нелицемерно. Мало-помалу воеводы начали брать его на вылазки, и он крепко бился со своими; все стали его почитать и любить; он ходил с воеводами по стенам и по башням, ходил и к пушкам, смотреть, хорошо ли наши пушкарки целят, и поправлял прицел, и много пакости творил и Литовским людям, и русским изменникам. Даже иной раз с воеводами спорил, и всегда случалось по его словам. Воевода князь Григорий почитал его, как отца родного, спал с ним в одной комнате, одевал в богатую одежду и даже ночью посылал обходить стены и осматривать стражу, и пан Мартьяш говорил ему всю правду.

Он был, однако, предатель, и предательство его открылось.

Пришел в обитель другой пан, глухой и немой от рождения. Силен был этот пан, и яростно сражаясь с своими, послужил обители, как истинный христианин. Он так стал знаменит в Литовских ватагах, что где только глухой пан покажется, там все и бежит. Он и



пеший конного не боялся, и в бою не слышал ни крику, ни стонов, ни пальбы, а рубил направо и налево, так что рука затекала, и после меча ничего не мог взять в руки — так все и вываливалось, а руки дрожали.

Неизвестно, по какой причине он нам передался смерти ли боялся от своих, или по чему другому, Господь его ведает. Не говоря, он разводил руками, и когда речь у него шла о человеке, о животном, то чертил их пальцем, и воеводы разумели его немые речи. Вот раз этим двум панам, немому и пану Мартьяшу, случилось обедать у монастырского слуги Пимена Тененева. После обеда немой пан отскочил от Мартяша и начал скрежетать на него зубами и плевать на него, а пан Мартяш тоже взглянул на него недобрыми очами и скоро ушел вон. Немой прибежал к воеводе Князю Григорию и показал руками, что надо взять пана Мартяша. Воевода спрашивал его, чем же виноват пан, а немой, как бешеный, стал бить кулаком по кулаку, хватать стены келейные, указывать на церкви, и на службы, и на стены монастырские, и по воздуху руками показывал, что все это взлетит

на воздух, что воеводы будут изрублены и все сожжено. Князь понял все это, отыскали пана Мартьяша, который было спрятался, и давай его пытаться. Заговорил, что виноват, хотел забить гвоздями затравки у пушек, а порох сжечь. И еще сказал, что ночью часто беседовал с своими панами, приходившими под самые стены и пускал им на стрелах грамоты. В ту ночь окаянный хотел пустить на стену нескольких Поляков, с ними испортить пушки и порох, а прочим велел быть готовыми к приступу. Повинился во всем этом пан Мартьяш, да тут же, в муках пытки, и выплюнул свою скверную душу.

Много пало в обители храбрых и крепких людей, от болезней и в сражениях. Но потом храбрость приходила и к тем, кто никогда не воевал. Так первым храбрецом стал вдруг у нас Анания Селевин, монастырский слуга, и никто из храбрых Поляков и русских изменников не смел нападать на него, а все старались попасть в него издали, из ружья. Все неприятели знали его, и легко было узнать его по лошади; конь был у него бойкий и такой быстрый, что уносил его из самой среди-

ны полков литовских. Когда наши пойдут или за дровами, или накосить травы для скота, или белье полоскать, Анания верхом, а немой пан пешком непременно уж с ними, и если неприятель покажется, то иной раз Анания с немым вдвоем останавливали целую роту польских копейщиков. Однажды сам Лисовский увидел, как Анания рубит его людей без пощады и без разбору, да сам на него и кинулся; а Анания не подпустил его близко: пустил в него стрелу, угодил в самый висок вскользь и оторвал часть уха, так что Лисовский повалился с лошади, а Анания ударил тем же луком по своему коню и ускакал из середины Литовских полков. Был мастер из лука стрелять, а также из самопала.

Поляки только о том и думали, как-бы извести Ананию, видели, что живой он в руки не дастся, так хоть коня под ним убить, а как упадет, тут наскочить на него, да и заколоть. Только не удалось им надругаться над телом Анании. Один раз шестью ранами ранили его коня, а от седьмой он издох, да уж так близко к монастырским стенам, что Анания ушел здоров и невредим. После того, на другом коне

он стал воевать уж гораздо хуже. Потом Ананию ранили из ружья в ногу, в большой палец, и всю ступню раздробили; опухла у него нога, но он еще шесть дней ратовал пуще прежнего. В седьмой день ранили его из ружья в ту же ногу, в колено; отекала нога его до самого пояса, и через несколько дней не стало на свете храброго человека Анании Селевина.

Однажды вылезли Троицкие люди на вылазку, белье полоскать, а тут пришел Александр Лисовский и напал на них. Мечом пожирали Поляки наших, как волки пожирают ягнят. Побежали наши. Между ними был один Московский стрелец, именем Нехорошко, да Клементьевский крестьянин Никифор Шилов. Видели они Лисовского в кованой броне, с копьём в руке, окруженного пешими Поляками. Разгорелись они сердцем, взглянули на храм Пресвятыя Троицы, да и кинулись на богопротивного Лисовского. Никифор Шилов убил под ним лошадь, а Нехорошко угодил ему копьём в самое бедро. Пристали к ним наши и отбили от Поляков и увели храбрых бойцов здоровых и невредимых в обитель.

Мая в 7 день пришли в Троицкий Сергиев

Монастырь два служителя и принесли грамоты от старца келаря Авраамия Палицына к архимандриту Иоасафу с братиею, к воеводам и ко всем людям. Пишет келарь Авраамий: «помнить крестное целование, стоять против иноверных крепко и непоколебимо, жить неоплошно и накрепко беречься литовских людей».

С 9 дня мая месяца, с самого праздника Святого Николая Чудотворца, когда весна расцвела и разгорелась кругом обители, цынготная болезнь стала униматься и совсем унялась.

С весною же и народу опять стало больше набираться вокруг монастыря. Из разграбленных и в конец разоренных деревень и городов неприятели сошлись к обители, в надежде и ее пограбить. К 26 дню мая накопилось их почти столько же, сколько было осенью, а в 27 день, видно, приехали сами Сапега и Лисовский: шум сделался великий, музыка всякая играла до полудня, а с полудня стали они подъезжать к стенам и осматривать, и готовить места, где быть их пушкам. А наши видели их злое намерение и готовились к защи-

те; на стенах приготовили смолу, и камни, и серу, очистили бойницы и зарядили пушки и пищали. Когда настал вечер, окаянные литовские люди и русские изменники, скрываясь поползли к стенам, как змеи, по канavam, ямам и оврагам, и потащили за собой лестницы, туры, щиты деревянные, и всякие стенобитные хитрости. Городские же люди, все мужчины, и даже многие женщины, видели все это, взобрались на стены, притаились и ждали приступа.

Вдруг с красной горы грянули литовские пушки, и со всех сторон как из земли выросли, как демоны какие, поднялись враги с лестницами и другими снарядами, и кинулись на стены всеми своими силами сколько их ни было. Они думали взять обитель в один час, знали, что у нас мало народу, что есть еще больные, и думали, что наверное одолеют нас. Но жены у нас бились мужественно, а мужи — как львы: не давали неприятелю придвигать к стенам щитов на колесах и лестниц, били их из пушек и пищалей, кололи их в окна, и бросали в них камнями, лили кипящую смолу, бросали зажженную серу и

известью засыпали их скверные очи. Так бились всю ночь. Архимандрит Иоасаф всю ночь молился в храме Святыя Троицы со всем освященным собором. Когда настал день, неприятели увидели, что они ничего не могли сделать, только пропасть своих изгубили, и со стыдом начали отходить от стен. А наши тотчас отворили ворота, и накинулись на тех, кто остался во рву, у лестниц и у разных стенобитных хитростей. Там многих побили, да живых взяли тридцать человек.

Пригодились нам эти люди: в обители были большие запасы хлеба в зерне, так надо было молоть этот хлеб ручными жерновами; их всех и заставили работать; они так закованые и работали вплоть до самого конца осады.

Два месяца простояли так неприятели, и то не все: большая часть из них уходила на грабежи в разные стороны. В 30 день июля накопилось перед обителью опять много народу: пришел к Сапеге и Лисовскому еще пан Сборовский с своими полками, да Лев Плещеев, да Федор Хрипунов. Пришли от них в монастырь посланные, и приказывали нашим

покориться, потому что будто бы и Москва покорилась, и царь Василий Иоаннович с боярами в их руках; уверяли они, что если мы не покоримся, то придут на обитель все польские и литовские люди, и тогда уж челобитья нашего не примут, а прямо все разорят. В ответ на это наши сказали, что они скорее перебьют друг друга, чем покорятся богопротивным неприятелям. К другому дню они и приготовили приступ.

А пан Сборовский, новоприбывший, смеялся над Сапегой и Лисовским и говорил: «что вы тут без дела стоите над этим лукошком? Взять бы это лукошко, опрокинуть, да всех ворон передавить». Подстрекнул он их, и в ночь на 31 день июля пошли неприятели на приступ.

А в ту ночь знамение было на небе странное и великое: звезды небесные светом сияли великим и будто падали над монастырем и вокруг монастыря в большом множестве[12]. Всю ночь Троицкое воинство и все православные христиане, мужчины и женщины, бились с врагами беспрестанно. У нас на стене убита была всего только одна женщина, и к



утру неприятели нестройно метнулись в разные стороны и разбежались. Пан Сборовский изгубил многих из своего избранного воинства, и стал сердиться, и тосковать, и досадовать, а Сапега и Лисовский над ним посмеивались: «что же ты не одолел это лукошко? Поучил бы нас, как ворон давить; а мы с лукошками воевать не привыкли».

Это был последний приступ. Неприятели слышали, что царский племянник, князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский с войском, да с генералом Яковом Делагарди и пятью тысячами Шведов идет и нещадно побивает Поляков: выгнал их из Орешка, из Русы, из Порхова, из Торопца, Торжка, Твери, Ярославля. Осердились на это польские воеводы, оставили Троицкий Сергиев монастырь и пошли на Князя Михаила Васильевича по Переяславской дороге. Встретили они Князя близ Колязина Монастыря, рубились с ним целый 13-й день августа, к вечеру не выдержали и побежали, гонимые своим страхом и русскими полками. Прибежали они через несколько дней опять под самые стены обители, но уж не смели ходить на приступ. Нестройными

ватагами бродили кругом, попадались нашим иной раз по три и по два человека, вредили нам немного, бились с нашими, когда мы ходили дрова рубить, или траву косить.

Князь Михаил Васильевич знал, что в обители Святого Сергия немного уж осталось народу для защиты стен, и для того прислал в обитель воеводу Давида Жеребцова и с ним девятьсот человек избранного воинства. Давид Жеребцов пришел благополучно, не встретив ни одного неприятеля, пришел и принял на себя все строение монастырское и запасы все принял по описи, за подписью старца Макария. А запасов было еще так много, что одного овса оставалось 7776 четвертей. Пекли в обители всякий день хлеба по двадцати четвертей, да брали еще из кладовых девять, десять, а иной раз и одиннадцать четвертей сухарей в день.

После прихода Давида Жеребцова, вылазки наши стали чаще, иной раз не совсем успешны, а все же беспокоили неприятелей.

В 4 день января (1610) ночью пришла к обители еще подмога от князя Михаила Васильевича, пятьсот человек отборных воинов с

воеводою Григорьем Валуевым; пришли они, немного отдохнули, да утром соединились с Давидом Жеребцовым и с монастырскими людьми, вышли все на Клементьевское поле, и неустрашимо напали на польские и литовские отряды; разом смяли их и втоптали в Сапегины таборы и зажгли все, что они на зиму себе построили. Бились и на Келареве пруде, и на Волкуше, и на Красной горе, бились целый день; много народу нашего погибло, еще больше погибло неприятелей; но это был последний бой. Неприятеля оттеснили, а с 12 дня января все неприятели до последнего пропали — убежали к Дмитрову.

Кончились бедствия Троицкого Сергиева монастыря, но не кончились бедствия России, потому что до восшествия на престол Благословенного Дома Романовых, оставалось еще 3 года и 50 дней.



## VIII

# ЧТО БЫЛО В 1703 ГОДУ НА ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ ТЕПЕРЬ ПЕТЕРБУРГ

На том месте, где теперь самые многолюдные и великолепные части Петербурга, одной из самых богатых столиц в мире, полтора столетия тому назад были непроходимые леса и болота. Устье нашей величественной Невы было дико и низменно. О нем есть странное предание: говорят, будто Шведский Король Карл XI подарил одному из своих вельмож огромное пространство земли, около неевского устья. Вельможа, очень довольный подарком, осмотрел место, построил себе дом, или дачу, устроил большую ферму, населил ее Шведами и назвал *Lustholm* (Увеселительный остров). Прошло два, три года, и вдруг, осенью, прежде нежели река замерзла, вода вышла из берегов, затопила всю колонию, часть ее разрушила; несколько работников на новой ферме замерзло; многие перетонули. Труды и издержки вельможи пропали;

В досаде на климат и местность, он прозвал свою дачу *Teufelsholm* (Чертов остров), бросил все и уехал.

Когда в этих местах было очень мало жителей, не были вырублены леса, не были осушены болота, вероятно, климат был гораздо хуже, нежели теперь. На всем пространстве, которое теперь занимает Петербург, полтора-два столетия тому назад самое населенное место было при устье Охты, впадающей в Неву, верстах в семи от Финского залива. На острове между Охтой и Невой, т. е. на левом берегу Охты, была небольшая каменная шведская крепость, Ниеншанц, с правильными валами и рвами. На правой стороне Охты, подле Невы, которая у Шведов называлась Ниен, был расположен Ниенштадт, то есть Невский город. В нем было довольно много жителей, большой военный госпиталь и две церкви, одна в самой крепости, Шведская, а другая в городе Немецкая. Жители Ниенштадта вообще были довольно богаты; кто-то из них имел кирпичный завод на правом берегу Невы, на нынешней Выборгской стороне; а другой, именно купец Фризиус, в начале войны с Пет-

ром Великим, дал Карлу XII займы значительную сумму денег. Торговля Ниенштадта была значительна: в 1694 году, за девять лет до завоевания этого городка Петром Великим, к нему пришло 108 кораблей с разными товарами, а отошло с товарами же 80 кораблей. Зимой в Ниенштадте жителей было немного; за то летом невское устье кипело деятельностью. Сто восемь кораблей в один год — по тогдашнему положению торговли, было очень много. Шведы построили крепость Ниеншанц, для защиты своей торговли и для охранения границ; каждые два года гарнизон этой крепости сменялся, и, прослужив тут законное время, возвращался в Нарву.

Но последней смене ниеншанцкого гарнизона не довелось возвратиться по той дороге, по которой он пришел.

19 августа, 1700 года, Царь и Великий Князь Петр Алексеевич объявил Швеции войну. Великий Государь указал: «Свейского Короля, за многие его к Нему Великому Государю неправды, и что во время его Государева шествия чрез Ригу от Рижских жителей чинились ему Великому Государю многие против-

ности и неприятства, идтить на его Свейского Короля города своим Великого Государя ратным людям войною...[13]».

В 1702 году был взят русскими войсками Нотебург, наш древний Орешек, переименованный Петром в Шлиссельбург, город-ключ к морю. Вскоре после того Государь пожаловал бомбардирского поручика Александра Даниловича Меншикова Шлиссельбургским, Лифляндским, Корельским и Ингерманландским Генерал-Губернатором. Тогда под начальством нового Генерал-Губернатора была только одна небольшая крепость, при истоке Невы; а все остальное, целые три области, нужно было завоевать, чтобы титул Меншикова не остался одним титулом. Значит, дело было уже обдуманно и решено в уме Петра Великого.

Известие о взятии Шлиссельбурга было причиною гибели Ниенштадта. Комендант ниеншанцский приготовился к упорной защите, приказал всем жителям выбраться из города, имение сложить на корабли или отвезть в Нарву, сам с гарнизоном заперся в крепости, а город сжег; пожар продолжался

больше двух суток.

24 апреля 1703 года 20.000 человек русско-го войска, под начальством Шереметева, остановились на правом берегу Невы, не доходя 15 верст до Ниеншанца, и фельдмаршал послал вперед две тысячи человек, под командою полковника Нейдгарда и капитана Глебовского, для того, чтобы узнать хорошенько местность. Ночью отряд неприметно подошел к крепости; в ней произошла страшная тревога; наши храбрецы ворвались в Ниеншанц и заняли одну часть его. После такого блестящего, славного начала, отряд несколько времени не знал однако же, на что решиться: ему не известно было, сколько в крепости войска; он не мог ожидать скорой помощи от своих, да сверх того он не получил приказания овладеть крепостью, а только узнать местность. Нейдгард решился отступить. Между тем Шведы опомнились от первого удара, приняли свои меры и приготовились защищаться до последней капли крови.

26 апреля, все русское войско расположилось лагерем под стенами крепости, и начались работы для разрушения их. Еще зимою,



под надзором Меншикова, были выстроены в Шлиссельбурге большие лодки; на них были привезены артиллерийские орудия, 12 мортир и 20 больших пушек; небольшая крепость могла быть ими очень скоро разрушена и уничтожена.

В рядах войска нашего был тогда сам Царь, в чине бомбардирского капитана. Во всем без исключения показывал он пример своим подданным; он служил и в сухопутном войске, и во флоте, везде начинал с первых чинов, и все следующие чины получал не иначе, как за какой-нибудь значительный подвиг.

Крепость не была еще взята, но великому Царю с большим нетерпением хотелось видеть невское устье и море. 28 апреля вечером, взяв с собою несколько рот своей гвардии, на шестидесяти лодках он поплыл вниз по течению. Ядра из пушек Ниеншанца сыпались на него градом; но он прошел невредимо.

С этого именно дня можно считать начало истории Петербурга. Тут Царь в первый раз увидел те места, которые впоследствии он так полюбил. Широкая, величественная река, закованная теперь в гранитные набережные,

обставленная сплошною стеною домов, тогда привольно катилась в своих отлогих берегах, местами прихотливо заливалась в прибрежное болото, местами отделяла от себя широкий рукав, наполняя водою и без того уже сырые окрестности, и везде скрывала свои берега в высоком тростнике, который вдали незаметно смешивался с ольховыми кустарниками. Но тогда была ранняя весна, и тростник этот был желтый, прошлогодний, вымерзший в течении зимы; на кустарниках не было ни листочка; дальше от воды мелькали белые стволы березы среди густой, темной зелени елового леса. С каким удивлением Царь должен был видеть по берегам то бедные, то довольно хорошо построенные дома. Но большая часть берегов была покрыта лесом. Было кругом все тихо, не слышно было человеческого голоса, не видно было движения. Только где-нибудь, возле болотистого берега, испуганная стуком весел, вспорхнет пара уток, недавно прилетевших из теплых краев; в другом месте раздастся гоготанье гуся, и вдали, с своим странным криком, поднимутся острожные журавли.

Вероятно, Петр Великий выходил на берег. Возле невского устья он видел несколько домов и даже деревень, а между жителями попадалось много Русских. До нас дошло несколько имен тогдашних домовладельцев: около берегов Невы в разных местах были Уканова, Кускова и Торкина избы, Одинцов, Севринов и Аришкин дворы; наверное домовладельцы были русские, промышленники, или купцы, а может быть, огородники и рыбаки, которые снабжали овощами и рыбой богатых жителей Невского города. Русских было здесь так много, что они могли даже иметь церковь, против устья Охты, на левой стороне Невы, там, где теперь Смольный Монастырь. Церковь эта, во имя Спаса, была в стенах небольшого шведского укрепления, от которого начиналась дорога в Нарву. Русские жители остались, конечно, на своих местах в то время, когда окрестности Невы, по Столбовскому миру, достались Швеции. С тех пор, до завоевания Невы Петром Великим, прошло только 86 лет и 2 месяца, а Русские и через тысячу лет не приняли бы иноземной веры, обычаев, языка и фамилий.

Кроме Русских, около неевского устья было много и Финнов. На Васильевском острове, который назывался Лосьим, была Финская деревня Гирви-саари, или Лосья. Там, где теперь Калинкин мост, около самого взморья, была еще деревня Кальюла. На шведском языке это название означает, что деревня была населена лоцманами, то есть людьми, которых обязанностью было — вводить в неевское устье и выводить из него корабли. Положение Кальюлы было так удобно, что сам Петр Великий не нашел лучшего места для постройки своего Подзорного дворца, из которого любил наблюдать, как корабли идут к его любимому городу.

Из Ниенштадта было четыре сухопутные дороги, кроме главного пути — Невюю и морем. По правому берегу Невы, была дорога в Выборг; другая — в Кексгольм, через Токсово и Коросари; третья — в Шлиссельбург, который тогда назывался Нотебургом; четвертая в Нарву. Это была главная, торговая и военная дорога. Чтобы на нее попасть из города, переправлялись обыкновенно через Неву на лодках, или на барках. Но в то время, как видел

все это Царь, здесь все было тихо и пусто. Между тем, могущественному воображению Царя, может быть, представлялась уже картина большого торгового города: здесь крепость, там сенат; тут адмиралтейство и верфь, и корабли, и лес мачт, и большие дома по берегам, словом, целый Амстердам со всеми каналами...

Вот как наш знаменитый Пушкин рисует в своей поэме «Медный Всадник» то, что было перед глазами и в воображении Царя:

*На берегу пустынных волн  
Стоял Он, дум великих полн,  
И вдаль глядел. Пред ним широко  
Река неслася; бедный челн  
По ней стремился одиноко.  
По мшистым, топким берегам  
Чернели избы, здесь и там,  
Приют убогого Чухонца,  
И лес, неведомый лучам  
В тумане спрятанного солнца,  
Кругом шумел. И думал Он:  
«Отсель грозить мы будем Шведу;  
Здесь будет город заложен  
Назло надменному соседу;*

*Судьбою здесь нам суждено  
В Европу прорубить окно,  
Ногою твердой стать при море;  
Сюда, по новым им волнам,  
Все флаги в гости будут к нам,  
И запируем на просторе!»*

В этой превосходной картине одна ошибка; по берегам были большею частью русские избы, а не чухонские, и некоторые из них вовсе не убоги. Кроме того, в лесу около неевского устья было четыре большие дороги и много мелких, проложенных между деревнями и отдельными домиками, деревьев было много рублено на дрова и на постройки; по этому видно, что не было той дикой пустыни, какую описывает Пушкин.

Царь выплыл на взморье, осмотрелся, не видал ни одного неприятельского корабля, ночевал под открытым небом на Гутуевском острове, который тогда назывался Кустарным, Витса-саари, оставил там три гвардейские роты для защиты неевского устья, в случае нападения с той стороны, и воротился на другой день в лагерь.

Фельдмаршал Шереметев, узнав, что в

Ниеншанце очень слабый гарнизон, не хотел понапрасну убивать множество людей, и потому приказал предложить коменданту — сдаться. Но тот надеялся или на неопытность русских в военном деле, или на то, что к нему подоспеет помощь, и отвечал, что будет защищаться до последней крайности. В ответ на это, ядра наши посыпались в крепость; Шведы начали отстреливаться, и страшная пушечная пальба продолжалась всю ночь. В Неве, против Смольного монастыря, вероятно, до сих пор еще лежат наши ядра, перелетавшие через Ниеншанц.

Неприятельский комендант увидел наконец, что ему нет никакой возможности держаться и сдался. 1-го мая Преображенский полк, в рядах которого был тринадцатилетний Царевич Алексей Петрович, с торжеством вошел в завоеванную крепость. Гарнизон был невелик, но крепость было трудно взять: военных снарядов было в ней много, между прочим 78 пушек и мортир; она была построена очень хорошо из камня. На постройку первого каменного дома, принадлежавшего графу Головкину, кирпич был взят

из разрушенного Ниеншанца. Потом еще много домов построено из остатков той же крепости, и до сих пор еще существуют на Охте следы ее развалин.

Царь был очень доволен этим завоеванием, пышно праздновал победу, и вдруг, среди самого торжества, 2 мая, вечером, от гвардейских рот, оставленных на Кустарном острове, для наблюдения моря, получил донесение, что на взморье показался неприятельский флот. Положение Царя и его войска было очень опасно: у нас не было не только флота, но и ни одного корабля; не имея никакой возможности удержать неприятеля, мы легко могли потерять то, что завоевали. К счастью, однако же неприятель не знал, что русские уже в Ниеншанце, и, ничего не подозревая, возвестил о своем приходе двумя пушечными выстрелами. Царь очень хорошо знал, что это условные знаки; ему надо было выиграть время, чтобы как можно лучше приготовиться, надо было как можно долее держать неприятеля в заблуждении, и потому он приказал отвечать с крепости двумя такими же выстрелами. Так прошло три дня. Пятого мая наши



отряды, спрятанные около взморья в лесу, в кустарнике, в избах, заметили, что от флота идет к берегу шлюпка с вооруженными людьми. Притаившись, наши выжидали, что бы Шведы вышли на землю, тотчас окружили их и захватили в плен. В то же время два неприятельские корабли выдвинулись вперед и стали у самого входа в устье Невы. Тогда Царь, не забывая своего чина бомбардирского капитана, вытребовал себе у фельдмаршала приказание напасть на эти корабли, или, как тогда говорили, *произвести*, над ними поиск. 6 мая, вечером, Царь, с двумя гвардейскими полками, на 30 лодках, остановился в узком протоке Невы, неподалеку от неприятельских кораблей, так однако же, что наших вовсе не было видно.

Был светлый майский вечер, небо чисто, погода прекрасная; русские, притаившись, чтоб не испугать неприятеля, сквозь ветви кустов могли видеть на спокойной поверхности Невы два красивые военные корабля, из которых выглядывали пушки. Трудно было ожидать удачи: но вот мало-помалу легкий ветерок превратился в сильный восточный

ветер и пригнал огромную свинцовую тучу с градом. Герой-Царь, пользуясь удобной минутой, с своими лодками поплыл к кораблям. Наши были встречены градом выстрелов из пушек, сами отвечали из ружей, и кинулись на неприятеля. Гром, молния, град, дождь, завывание ветра, грохот пушек, перекаты ружейной пальбы, крики умирающих, раненых, русское ура! И посреди всего этого, как баснословный герой, Царь впереди всех бросается на неприятельский корабль с горящей гранатой[14] в одной руке и с шпагой в другой!.. Произошел страшный бой, и корабли сдались.

Вот как он сам рассказывает в письме к Апраксину о своем подвиге:

«Извествую вашей милости, что сего числа в 5 часу пришла на устье Невы неприятельская эскадра, (отряд флота) под направлением вице-адмирала господина Нумберса, о чем уведав наш господин фельдмаршал послал нас в 30 лодках; и мы пришед к устью, гораздо осмотрели неприятеля, я по нарочитом бою, взяли два фрегата: один Гедан о десяти, а другой Астрель о восьми пушках, а окон 14; поне-

же неприятели пардон зело поздно закричали, того для солдат унять было трудно, которые ворвався едва не всех покололи; только осталось 13 живых. Смею и то писать, что истинно с восемь лодок в самом деле было; и сею никогда не бывалою викториєю вашу милость поздравя, пребываю».

После того в лагере на Охте было необыкновенное празднество в честь первой морской победы, и Царь и его поручик Меншиков сделаны кавалерами Св. Апостола Андрея.

«Капитану Бомбардирскому, за взятие неприятельских двух кораблей, дан воинский орден Святого-Апостола Андрея, в походной церкви, после отдания благодарения Богу, за тот над неприятелем одержанный авантаж (победа). Тот орден положил на него Г. Капитана, Великий Адмирал и Канцлер Граф Головин, яко первый того ордена кавалер. За ту ж службу таковым же образом и Генерал-Губернатор Александр Данилович Меншиков учинен кавалером реченного ордена[15]».

Под этим Царь приписал своею рукою: «хотя и недостойны, однако ж от господ Фельдмаршала и Адмирала мы с господином Поручи-

чиком учинены кавалерами Святого Андрея».

Остальные уцелевшие шведские корабли отплыли дальше в море, и Петр Великий остался полным хозяином всех берегов, а главное, устья Невы. Положение Ниеншанца казалось Государю неудобным; он долго ездил по Неве, вымерял глубину реки, объехал все острова, выбирая лучшее место. Прежде всего нужно было построить крепость: Шведы могли возвратиться, чтоб отнимать завоеванную у них землю; надо было от них защищаться. Наконец для крепости был выбран небольшой, низменный остров, называвшийся тогда *Jänni-saari*, Заячий остров, и Петр Великий своими собственными руками положил первый камень.

Работа закипела. Нужно было рубить лес, очищать землю от хвороста и кустарника, насыпать новый высокий слой земли, строить стены крепости, дома в ней; на все это нужно было множество народу. Сначала Царь употреблял на это солдат, а между тем собирал на ту же работу жителей вновь завоеванной области, нынешней Петербургской губернии, тогда называвшейся Ингерманландиею; там

же работали жители Олонецкой и Новгородской губерний, и сверх того Царь повелел высылать из России тысячи рабочих и мастеровых, в том числе Татар, Калмыков, Казаков, так что в то же лето 40.000 человек трудились над постройкою крепости и домов.

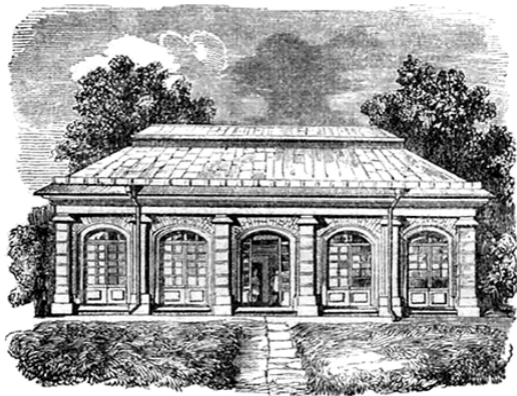
Петру Великому так нужно было как можно скорее иметь крепость, что с самого начала многие из работников должны были работать голыми руками: не успели запастись на всех топоры, лопаты и других орудий. Вырытую землю иногда люди носили на себе в мешках и даже в полах платья; кроме того у рабочих не было домов: поневоле надо было им жить в шалашах, в палатках; часто работали они под дождем, в болоте. И надо было торопиться: двенадцать тысяч шведского войска в начале июля шли из Выборга мешать Петру Великому в его трудах. Но Царь ни за что не уступил бы им своего начала: он взял свои два гвардейские полка, да еще четыре полка драгун, быстро пошел навстречу неприятелю, перешел через реку Сестру, не останавливаясь напал на шведское войско, сбил его, прогнал к Выборгу, отнял весь обоз,

часть артиллерии, и вернулся к своей новой крепости наблюдать за работой.

Чтобы быть как можно ближе к крепости, Царь построил себе невдалеке от нее небольшой домик, сажень в 8 длины и сажени в 3 ширины. Великий человек, который мог бы выстроить себе великолепнейший в мире дворец, жил там в двух маленьких комнатках, отделенных одна от другой сенями. Этот домик был деревянный, снаружи выкрашен красной краской с белыми полосами, так что издали можно было принять его за кирпичный; это голландский вкус; в Голландии красят так многие дома. На крыше в середине была укреплена деревянная мортира, а по сторонам — две пылающие бомбы, также из дерева.

Как святыня для всей России, как предмет удивления для целого мира, домик Петра Великого теперь очень старательно сохраняется: для защиты его от непогоды, он обведен каменной галереей с крышей. На нашей картинке он нарисован в своем нынешнем виде, так что самого домика не видно.

Почти рядом с этим дворцом, любимец Го-



сударя Меншиков, большой охотник до великолепия, построил себе также деревянный, но довольно большой дом. Царский был слишком тесен, потому иностранных послов Государь принимал в доме Меншикова, там же давал обеды по большим праздникам.

Рабочих в первое время было так много и все, под глазами Царя, работали так усердно, что крепость была отстроена в четыре месяца. Посредине ее, во всю длину острова Енни-саари, был вырыт канал, чтобы в крепости всегда было довольно воды. Около этого канала была построена деревянная церковь во

имя Св. Апостол Петра и Павла, и в том же году освящена была преосвященным Иовом, митрополитом Новгородским. Она была невелика и выкрашена под желтый мрамор; над входом в нее было три шпиля, на которых по праздникам поднимались корабельные флаги; на одном из них колокол днем и ночью бил часы. По сторонам канала, поодаль от церкви, было выстроено на скорую руку четыре ряда домиков, крытых, по финскому обычаю, берестою и дерном; в них помещались гарнизон, провиантские магазины, аптека, канцелярия, и т. д. От ворот крепости шел длинный деревянный мост на другой остров, нынешнюю Петербургскую сторону.

Каждый день от утренней зари до вечерней в крепости развевался Царский флаг, а по праздникам — особенный флаг, на котором был изображен двуглавый орел; в клюве и когтях его было нарисовано четыре моря: Белое, Черное, Каспийское и Балтийское. Утром поднимался Царский флаг, и раздавался пушечный выстрел: это было знаком к начатию городских работ; в 11 часов перед обедом, снова выстрел; третий раздавался вечером; тогда



медленно спускался флаг, шумная деятельность утихала, работы прекращались.

Надзор за работами не мешал однако же деятельному и неутомимому Государю заниматься делами, еще более важными. Он принимал послов, заключал договоры, сделал множество внутренних распоряжений, съездил в Ладейное Поле, начал там строить 15 кораблей, указал, где строить укрепления на Котлине острове (Кроншлот и Кронштадт), оставил Меншикова в Петербурге распоряжаться работами, и осенью отправился в свою столицу, Москву.

Уже без него в Петербург случайно зашел один голландский купеческий корабль, нагруженный солью и вином. Меншиков очень хорошо понимал намерения своего Государя, знал, что торговля с иностранными державами необходима для России, для ее промышленности и просвещения, и потому очень ласково принял шкипера или капитана корабля. Чтобы заманить к новому городу и другие купеческие корабли, Меншиков купил весь товар, подарил шкиперу 500 червонцев, богато одарил матросов и роскошно уго-

щал их в своем доме. Это было в ноябре.

Наступила зима и работ нельзя было продолжать с прежнею деятельностью. Таким образом в 1703 году весь Петербург состоял только из крепости, домика Петра Великого и дома Меншикова; сверх того на болотистом острове, который теперь называется Петербургской стороною, недалеко от крепости, было построено множество шалашей, сараев и балаганов для приюта рабочих зимою.

Бедный зародыш одного из богатейших городов в мире! Но прошло полтора ста лет,

*...и юный град,  
Полночных стран краса и диво,  
Из тьмы лесов, из топи блат,  
Вознесся пышно, горделиво:  
Где прежде финский рыболов,  
Печальный пасынок природы,  
Бросал в неведомые воды  
Свой ветхий невод, ныне там,  
По оживленным берегам  
Громады стройные теснятся  
Дворцов и башен; корабли  
Толпой со всех концов земли  
К богатым пристаням стремят-  
ся;*

*В гранит оделася Нева;  
Мосты повисли над водами;  
Темнозелеными садами  
Ее покрылись острова...*



# IX ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПЕТЕРБУРГА ПРИ ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ

Первая мысль Петра Великого после основания Петербурга, состояла в том, чтобы как можно скорее укрепить невское устье. Он должен был ежеминутно ждать, что отступившие из укрепления на Охте, Ниеншанца, неприятели возвратятся, постараются воротить себе потерянное и разорить новую крепость. От этого в первый год (1703) только крепость и строили. Поздно осенью в тот год, Царь уехал в Москву и Воронеж, однако и там не переставал заботиться о новом городке. Из Воронежа он прислал маленькую модель укрепления и приказал такое построить на острове Котлине, тогда называвшемся Ретузари, теперешний Кронштадт. Меншиков, деятельный исполнитель намерений Царя, построил, как приказано было, в одну зиму 1703–1704 годов трехъярусную башню для обстреливанья фарватера.

В 1704 году Царь был в Петербурге только на пять дней, осенью. Но и без него работа кипела: в крепости исправлялись земляные валы, отделялись некоторые казенные дома, а на Петербургском острове, недалеко от домов Петра Великого и Меншикова, строились частные дома, как попало, где кому вздумается, без порядка и плана. Все дома были деревянные, без дворов, низенькие, со входами прямо с улицы.

После взятия Дерпта и Нарвы, Царь уехал на Олонецкую верфь; там было уже готово шесть фрегатов и девять шняв. Он при себе спустил их на воду и привел по Свири, Ладожскому озеру и Неве в Петербург. В тот же день он орлиным взглядом своим выбрал место на левом берегу Невы, наискось от крепости, и заложил там новую верфь, или адмиралтейство. С тех пор правый берег Невы стал называться Петербургскою стороною, а левый — Адмиралтейскою. 9-го октября Царь уехал в Москву и по множеству важнейших дел во весь следующий год не нашел времени, чтобы посетить вновь строящийся городок.

После отъезда его, зимою, в городе стали

носится слухи, будто Шведы собирают большие силы в Выборге и намереваются следующей весной напасть на Петербург сухим путем и морем. Не даром же Карл XII, узнав о том, что Петр Великий строит город, сказал: «Хорошо, пускай брат мой Петр работает; это он строит для того, чтобы мне было что разорять».

Тогда Обер-Комендант С. Петербургской крепости был Генерал-Поручик Граф Роман Вилимович Брюс. Он очень хорошо понял всю важность своего положения и принял самые решительные меры. Весною шведский генерал Майдель, зная об отсутствии Царя и зная, что в Петербурге войск немного, вышел из Выборга с 9-ти или 10-ти тысячным корпусом. Ему казалось, что ничего нет легче, как разорить Петербург. Чтобы задержать его, Брюс выслал двухтысячный отряд из татар и казаков Яицких, Астраханских и Запорожских, а сам, пользуясь временем, вывел из крепости весь рабочий народ, каким только мог располагать, и стал строить вал и батареи на нынешнем Аптекарском острове, поперек Каменноостровского проспекта, там где теперь

земли Куракина, Лопухина, Несельрода, Воронцовой.

Наша конница, не встречая неприятеля, переправилась через реку Сестру, где теперь наш Сестрорецкий оружейный завод. Там наши встретились с передовыми неприятельскими отрядами, опрокинули их и погнали. В жару преследования, казаки наткнулись прямо на весь корпус Майделя, смешались и начали отступать. Шведы погнались за ними, и остановились только на берегу Невы, там, где теперь Новая Деревня. По прямому направлению они были всего в трех верстах от города. Деревья, прежде покрывавшие невиское устье, были по большой части вырублены, и сквозь редкие остатки леса они могли видеть бедные начатки города: земляную крепость с большим кронверком, для защиты со стороны земли, бедные лачужки, и над всем этим, на одном из валов, победоносный русский флаг.

Мало-помалу Майдель переправил часть своих войск с песчаного берега, где теперь Новая Деревня, на нынешний каменный остров, и стал строить батареи для обстреливания города. Против того места, где теперь выходят

на Неву ворота Аптекарского сада, скрытно от неприятеля стояло в засаде несколько наших судов, присланных вице-адмиралом Крюйсом и вооруженных пушками. Только что неприятели открыли огонь с своих батарей и под покровительством его стали переправляться на Аптекарский остров, как на них посыпался град ядер и картечи с наших укреплений, выстроенных на скорую руку, и с судов, выплывших на удобное место. Неожиданный жестокий отпор испугал Шведов. Они бросились бежать и даже не решились переправиться с Каменного острова прямо в Новую Деревню, потому что их переправа обстреливалась нашими судами, а кое-как перешли в узком месте с Каменного острова на Мистуласари, (Елагин остров) а оттуда уж на правый берег Невы, туда, где теперь дальний конец Старой Деревни. На Каменном острове они оставили несколько тысяч фашинов, или связок хворосту, изготовленных для того, чтобы завалить ими ров Петербургской крепости, когда полезут на приступ.

С другой стороны, с моря, успех наш был еще полнее. На острове Котлине у нас был от-



ряд пехоты в тысячу человек, с тремя пушками под начальством полковника Толбухина, да была новопостроенная батарея Кроншлот, да сверх того были те корабли, которые прошлую осень Петр Великий сам привел с Олонецкой верфи. обороной распоряжался вице-адмирал Крюйс; два раза подступали Шведы и всякий раз уходили с большим уроном.

А Петербург все продолжал отстраиваться. Ожидая нападения со стороны Финляндии, Обер-Комендант Брюс еще начал зимою строить на Петербургской стороне большое укрепление, кронверк, с водяным рвом и палисадом. Не смотря на слухи о походе Майделя, народу в Петербурге становилось больше. В Эстляндии, Лифляндии и Финляндии «гроза военной непогоды» разорила очень многих. Потеряв жилища, а с ними и все свое имущество, жители искали хоть какого-нибудь убежища, и приезжали в Петербург. Там, на пустынных болотах даром отводилась земля всякому, кто хотел строиться, и даром давался лес. Увеличение числа жителей потребовало устройства лавочек, и их явилось множество

на Петербургской стороне. Наехало много иностранцев, большею частию по торговым делам. Они начали себе строить маленькие деревянные домики по берегу Невы, там где теперь Зимний дворец, Эрмитаж, Дворцовая набережная. Чиновники и служители при Адмиралтействе стали себе строить домики на том же самом берегу Невы, только ниже, там, где теперь каменные громады Английской набережной.

Иноземные художники, матросы, ремесленники явились целыми семействами искать себе куска хлеба; но охотнее всех приезжали в Петербург мелочные торговцы, и больше всего торговали печеным хлебом, лаптями, одеждой и орудиями, которые употребляются для построек. Кроме того Татары и Калмыки, вызванные из дальних краев России для крепостной работы, добровольно оставались в Петербурге; работая для частных людей по найму, они часто зарабатывали себе столько, что в состоянии были строить себе дома, под которые рядом отводилась земля и давался лес. Тогда будущая столица наполнена была народом всех племен и

стран, самая неслыханная «смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний...».

В конце марта 1706 года Царь приехал в свой новый город и пришел в неописанный восторг от всего, что видел. Он писал Меншикову в армию: «С Божию помощью, я здесь нашел все изрядно, и живу, как в раю». Особенно порадовала Царя корабельная верфь, которую он заложил в октябре 1704 года: постройка ее была кончена меньше, нежели в год. В этой верфи (нынешнее Адмиралтейство) было сем эллингов, то есть, таких мест, на которых строятся корабли, а вокруг них, с трех сторон, были выстроены большие деревянные сараи; на одном из них, близ нынешних главных ворот, против Гороховой, была небольшая башня со шпилем. Все это было окружено небольшим земляным валом с палисадом. К верфи принадлежало несколько жилых строений; чтобы избежать внутри верфи излишней тесноты, эти строения, простые избы, конопаченные мохом, стояли за валом на большом лугу, который остался после вырубки леса. Теперь на месте этого луга великолепная Адмиралтейская площадь.

Царь тогда строил все на скорую руку, не для того, чтобы его постройки могли долго служить, а чтобы в случае беды, как можно скорее, быть готовым к обороне. К тому же тогда кровавый спор его с Карлом XII не был кончен; не было еще знаменитой Полтавской битвы, которую Царь считал решительной для России и для существования Петербурга. Даже в небытность свою в Петербурге, Царь, постоянно получая донесения о ходе тамошних работ, заботился о городке и думал, как бы увеличить там число рабочих рук, без отягощения государства. Когда отменена была смертная казнь за разбой, без совершения убийства, то все преступники такого рода, ссылались на каторжную работу в Азов. 4-го июля 1705 года он подписал указ, которым повелено всех, приговоренных к каторжной работе, присылать «на каторгу в новопостроенный город, в Санктпетербург[16]».

Услышав об удачном отражении шведских сил, от Петербурга, Царь решился прежние временные укрепления сделать гораздо прочнее. 30 мая 1706 года, в праздник Исаакия Далматского, когда праздновался день рождения

Государя, он собственноручно положил первый камень в основание каменного бастиона, на место земляного, именно того, который и до сих пор лежит налево от крепостных ворот. С тех пор наша крепость мало-помалу стала превращаться из земляной в каменную.

До 1710 года Царь мало занимался своим новым городом: некогда было; дела с Малороссией и Карлом XII хотя и не могли поглотить всей его деятельности, но в Полном Собрании Законов нельзя найти распоряжений, касавшихся до Петербурга. Только в 1708 году указом 18 декабря, Россия была разделена на восемь губерний; между ними Ингерманландская заключала в себе: «Санктпетербург, а к нему города: Нарва, Шлиссельбург, Великий Новгород, Псков, Ладога, Порхов, Гдов, Опочек, Изборск, Старая-Русса, Луки-Великие, Торопец, Бежецкий Верх, Устюжна-Железопольская, Олонец, Бело-Озеро, Ржева-пустая, Заволочье, Дерптский Уезд, Каргополь, Пошехонье, Ржева-Владимиrowa, Углич, Ярославль, Романов, Кашин, Тверь, Торжок, всего 29 городов. В той же губернии, кроме вышеписанных городов, города: Ямбург, Копорье, отданы во

владение Светлейшему Князю Александру Даниловичу Меньшикову». Остальные губернии были так же точно обширны. Из Московской губернии указом 24 июля 1710 года[17] повелено было «нарядить и выслать в С. Петербург, кончае к сентябрю месяцу, 3000 человек работников, в том числе, чтоб у всякого десятника был один плотник с топором, скобелью и с буравом, також и у прочих у всякого было по топору, и чтоб они взяли с собою на десяток по лошади...».

Вероятно, предпринимая много построек, Царь рассчитал, что этих трех тысяч человек будет мало, и через четыре дня после этого подписал новый указ[18] «о сборе работников по переписным книгам 186 года с 35 дворов по человеку и о высылке их в Санктпетербург». В августе того же года Царь распорядился о высылке в С. Петербург из городов Московской губернии работников на 1711 год [19].

Мало-помалу явилась потребность изменить направление большой дороги из Петербурга в Москву. До начала 1711 года большая дорога пролежала по левому берегу Невы, че-

рез Ладугу, Тихвин, Устюжну Железопольскую, Кашин, а потом Государь нашел более удобным «учредить почтовые станы и посланных как с Москвы, так и из Санктпетербурга посылать через Волоко-Ламской, Ржев Владимиров и Старую Русу, а чрез Тихвин и на Тверь посылать никого не велено».

Петр Великий заботился и о том, чтобы доставало материалов на обширные, предпринятые в Петербурге постройки. В 1712 году он запретил раздавать земли по реке Мье и Славянке: «в ширину по версте на обе стороны реки, где глина на кирпичи, каменная ломка, те места не отдавать никому, пока сойдет работа, а потом отдавать; леса рубить везде, во всех дачах, на Государственные дела[20]».

Царь начал обращать большое внимание на приведение в порядок петербургских построек, особенно с начала 1714 года. До тех пор всякий строил себе дом, где хотел, как хотел, и так как места было много, то всякий старался поселиться по деревенски, строился в саду, в роще, потому что Царь строго запретил рубить в Петербурге тот лес, который после пригодится для устройства при домах са-

дов.

Между тем пустынные болота пообстроились. Царь приезжал в Петербург на несколько дней, отдохнуть от своих великих государственных и воинских трудов — за новой работой, за постройкой своего любимого городка, полюбоваться успехами его быстрого развития.

В 1706 году Царь приехал в Петербург во второй раз 8 сентября, а через день после его приезда, 10 числа, при сильном западном-юго-западном ветре, вода в Неве сильно поднялась и затопила весь город.

Кое-как, без фундаментов поставленные постройки были снесены, как щепки, погибло пропасть народу и много всякого добра пропало. Но царская щедрость покрыла всю беду. Это было первое наводнение после основания Петербурга. После того было их еще несколько, и ужасных.

В следующем году Царь тоже два раза был в Петербурге. Второй приезд его особенно памятен для всей России. В ноябре месяце, когда Нева уже стала и установился хороший санный путь, Петр Великий, живший, по обыкно-



вению, в своем маленьком дворце, возле крепости, однажды в сумерки приказал подать сани и сел в них с Екатериною, а на запятки приказал стать Обер-Коменданту Брюсу. Надо заметить, что это рассказывают современники и рассказ выдают за совершенную правду. Поехали по Неве, покрытой льдом, ехали довольно долго вдоль по течению, потом, проехав болотистое устье Малой речки (Фонтанки) повернули на берег налево и густым мрачным лесом, подъехали к небольшой деревянной церкви, которая больше походила на часовню и почти до половины была занесена снегом. Является священник, и при тусклом свете нескольких лампад и свечей совершается бракосочетание величайшего государя в мире. На месте той достопамятной деревянной церкви стоит теперь большая каменная церковь Святой Великомученицы Екатерины (за Калинкиным мостом по Петергофскому проспекту).

Следующий, 1708 год, замечателен в летописях Петербурга посещением Августейших Гостей: вдовствующей супруги Царя Иоанна Алексеевича с тремя дочерьми ее, Царевнами

Екатериною, Анною и Параскевиею Иоанновнами; вместе с ними приезжали в Петербург три сестры Петра Великого, Царевны Наталия, Мария и Феодосия. Празднества были великолепные и продолжительные.

В том же году Петербург опять едва не был разорен Шведами. Опасность была особенно велика потому, что Царя не было в городе; он уезжал в армию, чтобы следить за движениями и намерениями Карла XII, вторгавшегося в Русские границы. Город был готов к отражению неприятеля: хлебные запасы были большею частью убраны в крепость; чего не успели убрать, то сожгли, а жители между страхом и надеждою ожидали развязки дела. К счастью адмирал Апраксин так хорошо принял меры, что неприятель не был допущен к самому городу, а наконец даже разбит совершенно и обращен в бегство.

Не смотря на опасность, город все отстраивался. На Петербургском острове явилось множество домов частных лиц; близ Адмиралтейства, по нынешней Дворцовой набережной, строили себе дома ремесленники и иностранцы. Они выстроили в 1708 году и

Протестантскую церковь близ нынешнего здания Эрмитажа.

В конце первого своего десятилетия Петербург еще едва ли мог быть назван городом. Большая часть домов частных лиц была на Петербургском острове, где нынче Петербургская сторона; там они теснились без большого порядка. На Выборгской стороне были дома вдоль по течению Невы; на левом берегу реки, выше и ниже Адмиралтейства, было много домов, но все построенных на скорую руку. Покамест Литейный *амбар* стоял на том месте, где Литейная улица оканчивается новым мостом, ведущим на Выборгскую сторону. Был уже основан и Александро-Невский монастырь, и братия уже начала устраивать от своей обители прямую дорогу к Адмиралтейству. До того дорога была все по берегу Невы, мимо Смольного двора, где в большом, огороженном частоколом пространстве, хранились бочки с дегтем, и для отпуска за границу, и для местного употребления (теперь там Смольный Монастырь). Далее дорога шла мимо литейного амбара и мимо летнего царского дома. Отсюда, кому нужно было, тот пере-

езжал в город, т. е. на Петербургскую сторону. Но самый многолюдный перевоз был от того места, где теперь Гагаринская пристань, на ту сторону, к палатам Князя Матв. Петр. Гагарина, Сибирского Губернатора. Его дом стоял на берегу Невы, где теперь складочные магазины пеньки, отправляемой за границу, следовательно недалеко от маленького Дворца Петра Великого.

Для избежания такого длинного пути, на монастырский счет была устроена дорога почти прямо к Адмиралтейству, по непроходимому болоту. Прежде было намерение провести дорогу от монастыря по прямому направлению к крепости; сначала до речки Лиговки так и была ведена дорога; но потом намерение изменилось, и почти от того места, где Лиговка пересекает эту дорогу, она была продолжена до Адмиралтейства. В 1718 году состоялся указ, касающийся этой дороги[21]: «Понеже для прошествия Царского Величества и Его Государевой Высокой фамилии, також и для богомольцев и бедных прохожих к монастырю и ради монастырской повседневной потребности по непроходимому болоту про-

ложена и управляема дорога, не занимая большой по берегу Невы реки дороги. А ныне всяких чинов люди проезжие, оставив оную большую по берегу дорогу, хотят ездить по вышереченной вновь сделанной дороге, которая монастырским трудом и немалым иждивением проложена и управляема. Того ради чрез сие указом Царского Величества запрещается, чтобы никому никакова чина по оной новопроложенной дороге не ездить, понеже от многих ездоков канавы засыпаются, и оная дорога много вредится. А буде кто похочет оною ехать... то платить верховому 1 алтын, в телеге на 1 лошади 5 копеек, в карете на двух лошадях гривну, на 4 лошадях 2 гривны, на 6 лошадях 10 алтын. А с богомольцев, приходящих в монастырь, и неимущих прохожих пеших ничего не брать».

Это нынешний Невский проспект, на котором не было еще ни одного дома в то время, как Петербургская сторона была уже совсем застроена.

На Васильевском острове тоже начинались постройки. Сначала, только что Царь завоевал пустыни, на которых теперь Петер-

бург, лесные Чухонские рыбаки называли Васильевский остров Лосьим, Гирви-саари, может быть оттого, что там водилось много лосей. Он выдается в море углом, на котором теперь Галерная гавань. На этом углу, называвшемся Стрелкой, в первое время после завоевания, Петр устроил батарею на случай, что неприятельские корабли вздумают войти в невшское устье, тревожить работы Великого основателя. Батарею Лосьего острова, на Стрелке, начальствовал Офицер бомбардирской роты *Василий* Корчмин. Государь посылал словесные приказания к *Василью на остров* и точно так же приказывал писать к нему на конвертах; тогда и все жители стали называть Лосий остров сначала Васильевым, а потом и Васильевским. Впоследствии Государь Петр II повелел[22] Васильевский остров называть Преображенским, потому что на нем он намеревался учредить свою постоянную резиденцию и перевести туда же Преображенский полк. Потом Императрица Анна Иоанновна новым указом повелела Преображенский остров опять называть по-прежнему Васильевским.

Постройки на Васильевском острове начаты князем Меншиковым. Он сделал длинную просеку через весь остров ко взморью, чтобы из самой середины крепости видны были подходящие к Большой Неве корабли. Теперь эта просека — Большой Проспект. В самом конце просеки, где она упирается в Финский залив, неподалеку от того места, где теперь на взморье гауптвахта, Меншиков выстроил большие деревянные двухэтажные палаты, перенеся их туда с Петербургского острова. В 1729 году, во время сильного ветра и наводнения, этот дом был подмыт и рухнул весь в воду и был разнесен волнами. Странно, что это случилось почти в самый день смерти великолепного временщика и деятельнейшего сотрудника Петра Великого: Меншиков умер в ссылке в Березове, в том году 22 октября.

В 1700 году Меншиков начал себе строить большой дворец, тоже на Васильевском острове. Дворец этот был обширнее и великолепнее всего, что ни было тогда выстроено в Петербурге. В 1733 году когда был основан кадетский шляхетный корпус, он был помещен

именно в этом доме. Там же теперь помещается первый Кадетский корпус. Долго на Васильевском острове жили только слуги и челядинцы Меншикова; потом для иностранных ремесленников и цеховых построилась в роще особая слободка, называвшаяся Французскою. Вероятно, она была построена на берегу Невы, потому что Царь любил реку, и в то время, когда на разных рукавах Невы не было еще мостов, сообщение на лодках было самое удобное. Между нынешними именами улиц на Васильевском острове остался след этой слободы: между 13 и 14 линиями, близ набережной, есть переулок, называемый Иностранным.

Петербургский остров, где находился самый город, был гораздо больше застроен: почти вся южная половина его была покрыта строениями, и отделена от остальной лесистой части высоким частоколом «от всякого случая и воровских проходов».

На площади была церковь Св. Троицы, на том же самом месте, где и теперь. На другой стороне этой площади стояла та знаменитая австерия или трактир, куда в одиннадцать



часов, перед полуднем, Царь любил заходить, чтобы выпить свою предобеденную рюмку водки.

Неподалеку от церкви, ближе к нынешнему Самсоньевскому мосту, которого тогда еще не было, по обе стороны искусственного канала, стоял большой деревянный гостиный двор; он был так устроен, что барки входили в него с товарами и разгружались прямо в складочные магазины.

Все на той же самой площади, близ моста в крепость, было построено несколько образцовых мазанок, в которых Царь поместил типографию. Таким образом он, в своем маленьком дворце, был окружен всем, что составляет важнейшие принадлежности народной жизни: церковь, представительница религии, типография, представительница образованности, гостиный двор — торговля, крепость — воинские силы. Вокруг этой достопамятной площади, группировались мазанковые дома частных людей. Мазанки строились из тонких бревен, густо обмазывались глиной и штукатурились. Крыша на этих мазанках составлялась из бересты, покрытой дерном. Ры-

нок, на котором продавалось мясо и хлеб, называвшийся *мытным*, и тогда стоял на том же самом месте, где и теперь. Там, где нынче большая Пушкарская улица, был устроен пороховой завод; где Ружейная, жили мастера-вые, делавшие разное оружие, преимущественно ружья, и деятельность в новом городке кипела, хотя и не в обширных размерах, не на большом пространстве.

Выборгская сторона тоже начала застраиваться, и все сначала по берегу, как и в остальных частях Петербурга. Там сначала был поселен батальон Сенявина, потом с 1711 года начали строиться частные владельцы, по большей части торговцы с Петербургского острова.

На Адмиралтейской стороне, по обе стороны Адмиралтейства, тоже были селения: выше — немецкая слобода, где жили богатые, миллионные купцы (Миллионная улица); ниже — морские, или матросские слободы. После пожара, истребившего эти слободы, там начали строиться богатые люди, и вышли нынешние великолепные улицы Большая Морская и Малая Морская. Там, где теперь Марсо-

во поле, или Царицын луг и казармы Павловского полка, была Ямская слобода и постоянные дворы. Все, приезжавшие из России в город, т. е. на Петербургский остров, останавливались на этих постоянных дворах, и потом уже на лодках переезжали в город. Тут же, возле Ямской слободы, в лесу, был построен *Зверовой двор*. В этом зверинце стоял первый, приведенный в Петербург слон и другие звери.

Дворец, до сих пор существующий в Летнем саду, был построен в 1711 году. Другой загородный дворец Государя был построен на Малой речке или Фонтанке, там, где теперь Екатерининский институт. Дворец этот назывался Итальянским, потому что он был построен по образцу Итальянских вилл, или дач. Принадлежавшие к нему здания выходили на Литейную просеку, против того места, где теперь Итальянская улица. Оба эти дворца назывались царскими летними домами, то есть дачами, потому что помещены были не в городе. Уже при Императоре Петре II, в 1727 году[23] издан указ об отводе по речке Фонтанной земель под строение загородных дво-

ров. Фонтанка названа потому, что на берегу ее, в Летнем саду, было устроено при Петре Великом несколько фонтанов.

К концу первого десятилетия Петербурга, там было еще три дворца: Екатериненгоф, за Калинкиной деревней, Подзорный и Зимний дом. Екатериненгоф — там же, где он и теперь. Калинкина деревня, в то время, как Петр Великий завоевал Петербургские болота, называлась по-шведски *Kalliulle*, что означает лоцманская деревня, то есть, что в этой деревне жили лоцмана вводившие корабли в невшское устье со взморья. До сих пор одна улица близ Калинкина моста называется Лоцманскою. Близ этой деревни был дворец Подзорный с бельведером, с которого царь любил смотреть на идущие к Петербургу с моря корабли.

Близ того места, где теперь Императорский Эрмитаж, на берегу Невы в 1711 году был построен Зимний Дворец, так как первоначальный домик Петра Великого был уже очень мал, и годился только на первое время, чтобы Царю приютиться от непогоды во время первых работ по основанию города. В этом

Зимнем доме скончался Император Петр Великий и Императрица Екатерина Первая. Нынешнее же здание Зимнего Дворца построено на том месте, где до 1728 года был дом Генерал-Адмирала Апраксина; этот дом был по завещанию принесен Апраксиным в дар Императору Петру Второму.

Так в первое десятилетие свое Петербург был на нынешней Петербургской стороне, и то на одной южной половине ее; а остальные места, теперь застроенные великолепными домами, были пустынно по-прежнему, и только в некоторых просеках, и по всем берегам, являлись редкие и небогатые загородные дома. Впоследствии Петр Великий делал решительные распоряжения и принимал даже строгие меры, чтобы Петербург выстроился на Васильевском острове. Но все эти меры не удались.





X  
КЮВЪЕ

# Очерк его жизни и трудов

Кювье, знаменитейший из естествоиспытателей нынешнего столетия, оставил после себя записки, назначенные, как пишет он сам, тому, кто будет ему говорить похвальную речь. Вот что он пишет:

«Я столько говорил на своем веку похвальных речей, что без большой опрометчивости могу думать, что после моей смерти произнесут такую же речь и мне. По собственному опыту я знаю, чего стоит авторам таких сочинений справляться о подробностях жизни тех, о ком они хотят говорить; так мне хочется избавить от этой работы того, кто вздумает говорить обо мне.

Многие не считали этого недостойным себя, и оказали этим большую услугу истории наук. Я могу представить их в пример тому, кто захочет меня обвинить в мелочном тщеславии.

Семейство мое родом из одной деревни в горах Юры; деревня до сих пор называется одним именем с нами, Кювье; семейство наше поселилось в маленьком княжестве Монбе-

льере еще во время реформации, т. е. в XVI столетии.

Дед мой был беден. Из двух сыновей его, старший сделался очень ученым пастором и принимал некоторое участие в моем образовании; младший, был в молодости очень ветрен, бежал из родительского дома и поступил в один из швейцарских полков, находившихся во французской службе. Он вел себя превосходно, был храбр, получил офицерский чин, военный орден и пятидесяти лет женился. У него было три сына. Я — второй; старший умер еще прежде, чем я родился.

А я родился 23 августа 1769 года. Мать моя была очень умная женщина и с большим чувством; она терпеливо переносила потерю нашего состояния, которое от разных причин уменьшилось до того, что у нас осталось только 800 франков пенсии за службу отца; мать жила очень уединенно и занималась моим воспитанием. Хотя она и не знала латинского языка, однако повторяла со мною мои латинские уроки, и потому я был почти всегда лучшим воспитанником в классе. Но особенно большое благодеяние она оказала мне тем,



что заставила меня при себе рисовать и читать очень много сочинений исторических и вообще литературных. От этого я пристрастился к чтению и с любопытством смотрел на все: это были две главные пружины во всей моей жизни.

Иногда попадали в мою голову мысли о другом обществе, о свете, потому что отец возил меня к своим старинным сослуживцам, офицерам своего полка, которые жили недалеко от нас, в своих поместьях, особенно к графу Вальднеру, его полковому командиру и моему крестному отцу.

Любовь к естественной истории родилась у меня в доме одного из наших родственников, деревенского пастора; у него была хорошенькая библиотека и в ней — полный экземпляр сочинений Бюффона. Главная из детских забав моих состояла в том, что я срисовывал оттуда животных и потом раскрашивал по их описаниям. Это занятие так познакомило меня с четвероногими, что на двенадцатом году я знал их так же отчетливо, как хороший натуралист.

Между тем мои бедные родители разоря-

лись больше и больше, так что уж не знали, какими средствами продолжать мое образование. Монбельярское княжество постоянно содержало в Тюбингенском университете несколько пансионеров, назначаемых в духовное звание. Поступление туда зависело от рекомендации начальства нашего училища. Гувернер невзлюбил меня за то, что в своем детском тщеславии, я слишком ясно показал ему, что считаю его невеждой. В решительную минуту этот гувернер настоял на том, что вместо меня послали в университет двух моих родственников. Без его несправедливости, может быть, я сделался бы бедным деревенским пастором и пропал бы в неизвестности. Но на другую дорогу вывел меня целый ряд случайностей.

Герцог Карл Вюртембергский, которому принадлежало и княжество Монбельяр, приезжал туда навещать князя Фридриха, бывшего правителем нашей области. Один из его приездов случился именно в то время, о котором идет речь. Княгиня, сестра его жены, племянница великого Фридриха, короля прусского, видела мои маленькие рисунки и полюби-

ла меня. Она говорила обо мне герцогу, и он приказал поместить меня на его счет в Штутгартскую академию. Через час после того, как я узнал об этой милости, я уже сидел в карете его камергера и ехал учиться.

Так оставил я Монбельяр на пятнадцатом году, не имея ни малейшего понятия о заведении, куда меня везли. До сих пор я с некоторым ужасом думаю об этой поездке. Приходилось сидеть в маленькой карете между герцогским камергером и секретарем. Было очень тесно, и я все боялся их стеснить еще больше; а они всю дорогу говорили между собою на немецком языке, которого я вовсе не понимал, и слова два только сказали мне в утешение.

Ехали до Штутгарда три дня; 4 мая 1784 г. я вступил в Академию, где у меня не было ни души знакомой, ни знакомого языка.

Академия эта — заведение великолепное. В огромном здании, которому ничего нет подобного в целой Европе (между зданиями, занятыми учебными заведениями), живет до четырехсот пансионеров, одетых в щегольские мундиры; более восьмидесяти профессо-

ров дают им всевозможные уроки. Было там пять факультетов: право, медицина, администрация, военное дело и торговля. Я выбрал себе администрацию, потому что в этом факультете преподаются основания права, финансового устройства, земледелия и технологии; но главное, что там подробно преподавались естественные науки. Разнообразные занятия мои были очень полезны впоследствии, когда судьба выдвинула меня на высокие общественные должности. В Германии, где все преподается основательно, в меньшее время слушатели узнают больше, чем во Франции. Таким образом у меня в несколько лет составились довольно верные и связные понятия обо всех частях управления; долгое время спустя после того, когда я вступил в совет университета, а потом и в государственный совет, я уже был готов к своим делам. Пробовал я ввести некоторые усовершенствования этого рода в народном просвещении Франции, но привычка ходить по давно пробитой дороге, и педантство были сильнее меня.

Однако мои познания в естественных на-

уках требовали с моей стороны больших трудов. Наш профессор естественной истории, Кернер, известный кое-какими сочинениями с картинками по части ботаники, был скорее рисовальщик, чем натуралист. У него были некоторые практические сведения о растениях, он написал книгу о растениях экономических, которую я перевел на французский язык. За это он подарил мне сочинения Линнея, и книга эта в продолжении десяти лет была постоянным товарищем моих уединенных занятий. Еще не знаю как, я достал себе Рейхарда, Мурра и *Систему Насекомых* Фабриция. В этом заключалась вся моя библиотека естественных наук в продолжении десяти лет. Приходилось работать самому, чтобы вознаградить недостаток пособий; от этого все силы мои были устремлены на наблюдение предметов; от этого же в голове моей оставалось гораздо больше, нежели если б у меня были под руками великолепные гравюры и подробные описания. Таким образом я нарисовал с натуры более тысячи насекомых, и хотя я давно не занимаюсь этим, однако не забыл ни одного из тех насекомых, которые

изучил таким образом.

Тогда же я принялся за составление гербария; в нем было три, или четыре тысячи растений в 1794 году, когда я совсем оставил ботанику и стал заниматься одною зоологиєю. В свободное время, когда товарищи расходились и разъезжались к своим родным, я оставался в Академии, потому что у меня ровно никого не было знакомых, каникулы продолжались у нас только неделю, а в такое короткое время я не успел бы съездить домой, да и денег у меня на это никогда не было. Оставалось мне одно развлечение — ученье; да к тому же мать приучила меня быть любопытным во всем, что касалось до серьезных знаний, и потому — я не могу сказать, чего только я не читал, чему не пробовал учиться. Я просто проглатывал все книги моих товарищей и из академической библиотеки; а последние выдавались студентам с большою легкостью.

Кроме денег; получаемых от пансионеров, герцог выдавал еще на расходы Академии ежегодно по двести тысяч франков. Он очень внимательно занимался Академиею; она бы-

ла его любимую забавою под старость. Самый план заведения и планы курсов были составлены им самим, всех служащих выбирал он сам и всех знал лично, присутствовал при экзаменах и собственноручно раздавал воспитанникам награды. Самые способные были приглашаемы на придворные спектакли и концерты, а иногда герцог приезжал обедать в Академию или приглашал студентов к себе. Студенты были у нас изо всех наций, так что у нас в институте был вкратце целый мир — что очень развивало понятия молодых людей.

Не смотря на свои набеги на разные отрасли знаний, я все таки отличался в предметах своего курса, получил несколько наград и орден рыцарства, который давался во всем институте только пятерым, или шестерым. Конечно, я очень скоро мог бы получить место, и побившись год, другой, мог бы продолжать службу на видном и выгодном месте; но родители мои становились беднее и беднее, так что мне нельзя было ждать. По случаю беспорядков во Франции, отцу моему не выдавали даже его маленькой пенсии. Надо было при-

нять решительные меры для пользы моих родителей и моей собственной: я решился поступить учителем в частный дом. Это показалось всем моим товарищам отчаянным шагом; но это-то и было началом всех моих последующих успехов.

Поступил я в одно протестантское семейство в Нормандии, на место прежнего товарища моего по Академии, Паррота, который после был профессором физики в Дерптском университете. Я приехал в Каэн в июле 1788 года, мне было без малого девятнадцать лет, но уже и в том возрасте я знал много по части права, администрации, истории и различных отраслей естественных наук. Но я не знал ничего о текущих делах во Франции и не имел понятия о состоянии общества. Положение мое в знатном доме было выгодно в том отношении, что я видел там всех значительных людей того края, из разговоров узнал то, чего не знал по книгам, и вскоре за мои познания и умение говорить, самые замечательные умом своим люди искали моей беседы.

Между тем я не бросал старинных своих занятий. В Каэне не было людей, хорошо зна-



ющих естественную историю; но при тамошнем Университете был довольно богатый ботанический сад; у многих богатых людей были хорошие парки и теплицы, так что мне было довольно удобно продолжать заниматься ботаникою. На рынке, по причине близости моря, попадалось много любопытных и редких рыб, которых я вскрывал, и тут в первый раз занялся я сравнительною анатомиею рыб. Я продолжал собирать насекомых и растения и рисовал раковины.

Занятия эти стали еще разнообразнее, когда семейство, в котором я жил, переехало в деревню, на берег моря; там на земле и в море нашел я множество предметов наблюдения. Революция держала нас в деревне и в совершенном уединении, и я уверен, что никто так тщательно, как я тогда (от 1791 до 1794 г.) не наполнял каждой минуты своего времени наукой. Предметов наблюдения у меня было много, но не было книг, и не с кем было поделиться своими мыслями.

Тогда-то, неподалеку от нас, вырыто из земли несколько окаменелых раковин, вроде сверлуш; это дало мне мысль сравнить иско-

паемые виды с живыми. Там же мне принесли мягкотелое морское животное, кальмара; я изучил устройство его тела, потом устройство мягкотелых, и из этого извлек свои понятия о классификации животных. Таким образом два важнейшие труда всей моей жизни относятся по началу своему к 1792 году.

В самый разгар революции, знаменитый аббат Тессье беглецом явился в Каэне и сделался там главным доктором в военном госпитале, под чужим именем. Тессье узнал меня, оценил и предложил мне читать лекции ботаники молодым врачам, служившим в больнице. Потом он писал обо мне двум знаменитейшим естествоиспытателям Жюсьё и Жофруа, а вследствие ответов их, я послал в Париж некоторые соображения насчет классификации четвероногих и записки об устройстве тела осьминога или каракатицы и травяной улитки, с хорошими рисунками. На основании этих записок, меня пригласили в Париж, где я мало-помалу дошел до известности».

Далее, Кювье рассказывает, как радушно приняли его в Париже другие ученые, как До-

бантон говорил о нем, «что он вырос, как гриб, но гриб хороший», как он получил кафедру сравнительной анатомии, как его заметил генерал Бонапарт, как он был сделан непременным секретарем Академии наук, и т. д.

Линней и Бюффон в XVIII столетии двинули естественные науки далеко вперед; в нынешнем Кювье дал им новую жизнь. Бесчисленные существа, составляющие царство животных, разделялись у Линнея на шесть классов: четвероногих, птиц, пресмыкающихся, рыб, насекомых и червей. Это разделение все неверно. Хорошее разделение должно быть непременно придумано так, чтобы животные с одинаковыми признаками были все в одном классе. Тогда по одному только названию класса, к которому относится животное, можно знать все главнейшие его признаки. У Линнея была большая сбивчивость в двух последних классах, называемых животными белокровными. Мягкотелые животные, как например, каракатица, сепия, устрица, имеющие сердце и дышащие жабрами, назывались червями вместе с животнорастения-

ми, которые так просты, что в самом деле подходят к растениям, потому что у них нет ни сердца, ни сосудов, ни особенных снарядов для дыхания.

У Кювье все животные с белою кровью разделились на шесть классов: мягкотелые, черепокожные, насекомые, черви, лучистые и животнорастения. Чтобы в этих отделах заключить все главнейшие признаки животных, надо было пересмотреть их всех самому, с своей точки зрения. Новая классификация была так очевидна, так проста, что была принята беспрекословно всеми натуралистами. Кювье навел ученых на великую и плодотворную мысль: что в природе ничего нет случайного и что в устройстве каждого животного все органы неизбежно подчинены один другому. Например, все белокровные животные, имеющие сердце, имеют и жабры, или вообще определенный дыхательный аппарат; животные без сердца имеют только дыхальца; где есть сердце и жабры, там есть и печень, а нет сердца и жабр, нет и печени.

Никогда еще область науки так быстро не расширялась. После Аристотеля, гения все-

объемлющего, изучавшего все классы животных, европейские ученые глубоко занимались только животными с позвоночками. Кювье почти открыл низшую половину царства животных, белокровных, или, как они после были названы, беспозвоночных, почти незнакомую натуралистам, и в тоже время открыл различные образцы их внутреннего устройства и самые законы этого устройства.

У всех мягкотелых или моллюсков есть сердце; у некоторых одно, как напр. у устрицы и улитки; у других два; у иных даже три отдельные сердца, как у каракатицы и сепии. С этими-то, так полно и богато устроенными животными, имеющими мозг, нервы, органы чувств, смешивались животнорастения, полипы, имеющие вместо всякой организации почти однообразную мякоть.

Наблюдения Трамблея сделали известным *пресноводный полип*, животное, которое растет веточками, так что каждая веточка, отделенная от главного животного, растет и живет сама по себе. Устройство этого странного животнорастения очень просто: оно состоит из слизистого мешка, который и есть желу-

док, а отверстие его можно, пожалуй, считать за рот.

Кювье открыл другое животнорастение, еще страннее, потому что у него нет даже рта; оно питается, как растения, ветвистыми сосательными снарядами; внутренняя пустота служит ему то желудком, то сердцем; потому что через сосуды в него входят питательные соки и другими сосудами разносятся по телу.

Одна из любопытнейших задач, разрешенных знаменитым Кювье, это — питание насекомых. У насекомых, вместо сердца, есть простой спинной сосуд, и не заметно никакой ветви, никакого сосуда, который бы входил в первый, или выходил из него. Это было известно уже из знаменитых сочинений Мальпиги и Шваммердама; но Кювье пошел далее. Он подробно рассмотрел одну за другою все части насекомого и показал, что у насекомых нет никаких кровеносных сосудов и, стало быть, никакого кровообращения. Каким же образом совершается поддержка тела, или питание его кровью?

Кювье замечает прежде всего, что главная цел кровообращения состоит в том, чтобы

привести кровь в прикосновение с воздухом. От этого у всех животных, имеющих сердце, есть и определенный снаряд для дыхания, легкое, или жабры. Кровь, выходя из сердца, непременно проходит через этот снаряд, чтобы прикоснуться к воздуху, обновиться и потом уже разнестись по всем частям тела.

Но у насекомых дыхательный снаряд совсем другой. Это уж не отдельный, определенный орган, получающий воздух; это множество эластических сосудов, открывающихся снаружи несколькими отверстиями, которые называются дыхальцами. Воздух входит в дыхальцы и в сосудцы и уже внутри тела прикасается к питательной жидкости или к крови в насекомом. У других животных кровь, посредством кровообращения, приходит в легкое или в жабры для соприкосновения с воздухом, а у насекомых наоборот, воздух сам входит во все части тела, прикасается к крови и потому кровообращение вовсе не нужно.

Самая важная заслуга Кювье состоит в том, что он открыл закон подчиненности органов. Сравнивая устройство тела всех животных, он нашел, что всякий орган подвержен посто-

янным и определенным изменениям; что есть постоянное отношение между всеми изменениями организма, что некоторые органы имеют более заметное, более решительное влияние, чем другие; что некоторые черты, свойства организма требуют непременно других, определенных черт; что напротив, когда есть одни, то других не бывает.

Все эти законы и еще многие другие, выводимые из наблюдения над устройством огромного числа животных, составили одну из любопытнейших отраслей естественных наук, *Сравнительную Анатомию*.

До Кювье больше ста лет сряду между учеными происходил спор о том, по одному ли плану, с некоторыми изменениями, устроены все животные, или по нескольким планам. Вопрос этот не был уяснен и предлагался в общих выражениях. Кювье изучил нервную систему животных и решил, что есть четыре плана, типа, четыре главные формы, по которым созданы все животные: 1) *позвоночные* (напр. собака, журавль, окунь, лягушка, змея). 2) *мягкотелые* (напр. устрица, улитка). 3) *суставчатые* (напр. майский жук, бабочка, рак)



и 4) *животнорастения* (напр. звездчатка, медуза, коралловый полип).

Приведя в порядок царство животных и расположив их по главным отделам в постепенной последовательности, Кювье хотел еще описать их подробно, со всеми мелочами устройства их тела. Поэтому он и начал свою знаменитую естественную историю рыб. Он хотел показать, что можно сделать по всем классам животных, до каких подробностей следует доходить и как надобно описывать. *Рыб* он выбрал потому, что этот класс был менее других известен и недавно обогащен открытиями путешественников.

Предшественники Кювье знали только тысячу четыреста видов рыб, а он намеревался описать их более пяти тысяч: все сочинение состояло бы из двадцати томов; материалы были все приведены в порядок, и в шесть лет вышло девять томов описания рыб. Быстрота удивительная.

Но самое новое и самое блестящее приложение *Сравнительной Анатомии* Кювье состоит в его открытиях, касающихся *ископаемых костей*.

Всякий знает в наше время, что на нашей земле почти везде попадаются несомненные следы больших переворотов. Все, живущее нынче, повсюду живет на развалинах другой природы, существовавшей когда-то, раньше, нежели существовал человек.

На больших расстояниях от морей встречаются большие кучи раковин и других остатков морских животных, и на тех высотах, куда не могло достать никакое море. Кроме Священного Писания, свидетельствующего о потопе, это обстоятельство служит лучшим доказательством того, что потопы, о которых сохранились предания у разных народов, действительно существовали.

В земле, в пещерах найдены в разные времена кости животных, которые были источником тоже почти повсеместных преданий о великанах, или гигантах, когда-то населявших землю.

Следы переворотов, происходивших на земном шаре, всегда обращали на себя внимание человеческого ума; но долгое время из этого внимания ровно ничего не выходило. Невежество доходило до того, что даже уче-

ные люди и философы уверяли, будто найденные в земле отпечатки животных и растений — простая игра природы или случая.

В конце XVII века ученые стали с большим усердием собирать остатки органических тел, скрытых в коре земного шара и изучать слои, в которых эти тела попадались. Из великого множества наблюдений точных и полных составила одна из занимательнейших естественных наук, *геология*.

Но представлялась довольно трудная задача: иногда находили одну огромную кость: нужно было определить, какому из неведомых животных принадлежала найденная кость, которая никак не подходила ни к одному из животных известных. Прежде всех Добантон пытался применить к ископаемым костям сравнительную анатомию; но в то время эта наука была еще в младенчестве.

Знаменитый наш русский академик Паллас, положивший первые основания геологии, в 1769 году напечатал свою первую записку об ископаемых сибирских скелетах. Тогда ученые с большим удивлением увидели, что слон, носорог, бегемот, живущие теперь

только в жарком климате, в глубокой древности водились и в самых северных краях нашего материка. Вторая записка Палласа открыла вещи еще более удивительные. Автор рассказывает в ней, что найден огромный зверь целиком в замерзлой земле, с шкурой и с мясом.

Пошли предположения и объяснительные соображения: Бюффон говорил, что шар земной понемногу простывал и еще простывает в полярных краях, что будто по этому животные мало-помалу переселялись на юг, к странам экватора.

Но если простывание было постепенно, если бы животные в один прекрасный день погибли, а весь край замерз бы не в тоже время, а через несколько десятков, или сотен лет позднее, то животные успели бы десять раз сгнить без остатка.

Для объяснения дела, Паллас предположил, что когда-то, в незапамятные, конечно, времена, странные потоки воды хлынули с юга на север, снесли целые стада животных, о которых идет речь, из Индии в северные края Сибири, где они и замерзли.

Но и это предположение не удовлетворительно, потому что ископаемые животные — не те же, что в Индии и не похожи ни на одно из существующих. Это окончательно порешил Кювье, сравнивая ископаемых слонов с живыми. Продолжая сравнение, он нашел также, что ископаемые носороги, медведи, олени — нисколько не похожи на нынешних. Вывод его состоял в том, что прежде нынешней природы на земле существовала другая, совершенно убитая земными переворотами, но случайно сохранившаяся в небольшом числе остатков.

Чтобы дойти до такого ясного и положительного вывода, надо было рассмотреть, как можно больше, ископаемых остатков; надо было все их рассмотреть подробно, и сравнить одну за другою кости ископаемых с костями существующих животных. Чтобы понять всю трудность этой работы, надо еще знать, что целые скелеты попадаются в земле чрезвычайно редко, что ископаемые кости обыкновенно встречаются врозь, поодиночке, что часто перемешано несколько костей самых различных животных, что почти все-

гда эти кости исковерканы, изломаны, или потерты. Нужно было приобрести способ, методу, посредством которой узнавать всякую кость и с полною уверенностью отличать ее от другой; надо было отнести каждую кость к тому виду, к которому она принадлежала; надо было по немногим костям, или по одной, достроить весь скелет животного.

Эта работа — блестящее применение к делу сравнительной анатомии. Мы уже видели, что такое — *подчиненность органов*, открытая знаменитым Кювье. Будь одна часть животного не такая, как есть, а другая, — все животное будет другое.

У животного плотоядного органы чувств, органы движения, пальцы, зубы, желудок и прочие внутренности устроены так, что животное может удобно завидеть, догнать, схватить, разорвать и переварить добычу. Все эти части неизбежно связаны между собою; не будь одной из них — все остальные не нужны, животное не может существовать.

Животное травоядное все — совершенно другое, так что по устройству внутренностей, например, всегда можно определить, каковы

должны быть ноги, зубы, челюсти, органы чувств. По форме одного зуба можно определить все остальные части.

Все органы зависят один от другого, и так строго, так неизменно, что Кювье узнавал животное по одной только косточке, по одному обломку кости. Он определял роды и виды неведомых животных по нескольким костяным обломкам.

Оказалось, мало-помалу, при дальнейших исследованиях, что животных, исчезнувших теперь с лица земли, было множество, и самых страшных, самых чудовищных форм. Открылось, что были ящерицы, ростом с нынешних китов, видом, похожие столько же на крокодила, сколько и на рыбу; что были летучие мыши, с клювом, очень похожим на птичий, только вооруженный зубами, с коротеньким хвостиком, длинною шеей, как у гуся, но с крыльями летучей мыши. Такое животное могло летать, ползать и цепляться за скалы. Существуют теперь звери, называемые ленивцами; они величиною бывают с обыкновенную кошку. Ископаемый зверь, несколько похожий на это животное, был ма-

гатириум, длиною в пять с половиною аршин, вышиною — больше двух с половиной и с такими сильными лапами, что они годились бы для зверя, еще втрое больше этого. Мамонты, сибирские слоны, были больше слонов и покрыты длиною, грубою шерстью; мастодонты — почти такой же величины, отличаются тем, что зубы их были с острыми зубцами, почему их долго считали за плотоядных слонов. И не перечесть всех ископаемых животных, которых исследовал Кювье, и которые существовали не в одно время, а в три различные поколения, погибавшие одно после другого.

Кювье говорил вообще довольно торжественно, даже несколько медленно, особенно в начале каждой лекции; но мало-помалу прилив мыслей одушевлял его, речь становилась оживленнее, глаза начинали блестеть огнем вдохновения, и тогда речь его была восторженна, быстра, одушевлена.

Жизнь его была очень проста, не отмечена никакими особенными событиями, кроме великих умственных работ. Его повышения по службе справедливо вознаграждали его неутомимую деятельность. А работы у него



было много: где бы и кто бы ни открыл редкое животное, всякий сообщал свое открытие знаменитому натуралисту. И это было очень естественно: его слова, его лекции, его сочинения одушевляли всех наблюдателей; можно справедливо сказать, что повсюду наблюдатели вопрошали природу во имя Кювье.

Самою резкою чертою характера Кювье было любопытство, которое переходило у него в страсть; при этом память его была поразительна, и потому не удивительно, что он знал много. Он с необыкновенною легкостью, без малейшего усилия, переходил от одного занятия к другому. Едва ли кто на свете занимался наукою с такою неутомимостью и так ловко распоряжался временем, что умел не терять ни минуты. Каждый час у него был определен на известный род занятий; для всякой работы у него был особый кабинет, в котором были собраны книги, вещи и рисунки, относящиеся к работе. Все было приготовлено, предвидено, чтобы никакая внешняя причина не остановила свободного течения труда.

Кювье был вежлив, как всякий образован-

ный человек, но чувства его никогда не расплывались в словах; у него было много доброты, которая помимо слов прямо бралась за дело: как будто он и тут боялся потери времени.

---



АРАГО.

# ХІ АРАГО

**В** октябре 1853 года умер Араго, знаменитейший из современных нам французских ученых, на семьдесят втором году славной и трудолюбивой жизни.

Он родился в 1786 году в южной Франции, неподалеку от Пиренеев. В ту пору, когда он ходил учиться в приходскую школу, южные провинции Франции были наводнены отрядами испанских войск. Правительство часто посылало против них отряды своих войск, и маленький Араго с восторгом любовался на офицеров, которые останавливались на дневку в доме его отца. Он слушал их восторженные патриотические речи, сам возгорелся воинственным жаром и так и порывался на войну, на защиту границ своей родины.

Он вставал по ночам, потихоньку прокрадывался в комнату постояльцев и примеривал их там щегольские, блестящие мундиры. Конечно, мундиры сидели на его узеньких плечах, как мешки, но он был очень доволен

светлыми пуговицами и блестящими эполетами. Потом, возвратясь в свою постель, он всю ночь бредил, как он рубит с одного взмаху целые батальоны испанского войска. Часто случалось, что мать Араго посылала своего слугу догонять добровольного новобранца, который уходил за полком, маршируя самыми преувеличенными шагами в ногу с солдатами. Случалось не раз, что слуга брал в плен молодого воина верстах в пятнадцати, или в двадцати от дому. Ребенку не спалось, и все мерещились ему сражения, гром выстрелов, и большие фронтовые ученья. Домашние должны были день и ночь смотреть, чтобы ребенку не вздумалось опять уйти. Однако дозор был не очень строгий, потому что однажды утром на рассвете он успел ускользнуть на базарную площадь своего родного села, обычное сборное место военных отрядов.

В эту пору многие из окрестных деревень были уже заняты Испанцами, и народная война кипела во всем разгаре. Солдат однако же не было на площади и все село спало глубоким сном. Вдруг видит наш воин, что вдали, из-за угла, показались восемь человек ис-

панских кавалеристов. Себя не вспомнил ребенок от негодования и изумления; а испанские солдаты, ночью вероятно заплутавшись в своих разъездах, въезжали осторожно в незнакомое село, озираясь во все стороны. Маленький Араго, не говоря ни слова, кинулся домой, схватил старинную рыцарскую алебарду, висевшую на стене, и с криком ура! опять побежал на площадь рубить неприятелей. С разбегу, ударил по ноге унтер-офицера и опасно его ранил; а тот прицелился в него из карабина. Бедное дитя должно было дорого заплатить за свой порыв храбрости, но тут со всех сторон показались мужики с косами, ломами и вилами. Окруженные Испанцы должны были сдаться. Маленькому Араго было семь лет, когда он совершил этот воинский подвиг.

Отец Араго получил место в Перпиньяне и переехал туда со всем семейством. Там, а потом в Монпелье, Араго продолжал учиться, но воинственная натура его не унималась от изучения Virgilia, так что ему все еще очень хотелось драться с врагами отечества, а эпoletы все еще светились для него лучами

славы.

Однажды когда он прогуливался неподалеку от города, увидел он очень молодого артиллерийского офицера, который занимался съемкою плана и управлял работами нескольких помощников. Разгорелись глаза у мальчика и сердце забило тревогу. Подходит он к молодому человеку и спрашивает, как он мог в такие ранние лета достигнуть такого чина?

— Очень просто, — отвечал тот, — кончив курс в Политехнической школе. Выдержите экзамен, поступите, и через три года у вас будет такой же точно мундир.

Араго не стал терять времени; в тот же день он достал себе программу и с неодолимою твердостью принялся за изучение математики. Вскоре он заметил, что старый аббат, его учитель, сам в математике не очень силен. Тогда стал учиться один, по руководствам Лежандра, Гарнье и Лакроа.

Тут он сделал замечание, которое каждому из нас случалось поверять на опыте: вместо того, чтобы стараться с первого раза понять запутанные доказательства теорем, он на вре-

мя соглашался с ними на слово, и шел дальше; но постоянно думая о предмете своих занятий, он с удивлением замечал, что на другой день совершенно ясно понимал то, что накануне казалось ему непостижимым.

В полтора года постоянного, неутомимого труда, Араго вполне приготовился по программе. Ему еще не было семнадцати лет, как он уже мог поступить в Политехническую школу. Но в тот год, профессор, который должен был экзаменовать поступающих, был болен, и потому экзамены были отложены на целый год. Араго решил посвятить этот год чтению тех отраслей математики, которые были впереди; уже в курсе Политехнической школы, и в самом деле, прочитал все знаменитейшие сочинения по части высшей математики. Для его могучего и ясного ума это было просто игрою; ему хотелось явиться на экзамен с возможно большим запасом знаний, хотелось приблизиться к своим профессорам, и он учился по их же ученым трудам. В тоже время зная, что артиллерийскому офицеру надо уметь фехтовать и танцевать, он по два часа каждый день упражнялся и в этих меха-

нических искусствах.

Наконец наступил великий день испытания.

Араго приехал в Тулузу, чтобы там выдержать первый экзамен, по которому мог получить разрешение ехать окончательно экзаметноваться в Париж, и явился к суровому и строгому профессору Монжу вместе с одним из своих товарищей.

Этот товарищ так оробел от грубоватой строгости экзаменатора, что едва понимал вопросы, отвечал худо, или вовсе не отвечал; решено было, что он не может удостоиться окончательного экзамена. Пришла очередь Араго.

— Молодой человек, — сказал ему профессор, — вы, вероятно, знаете столько же, сколько ваш товарищ? Я бы вам советовал ехать домой и еще поучиться, прежде чем рисковать экзаменом.

— Господин профессор, — отвечал Араго, — мой друг сильнее, нежели вам показалось. Он только от робости затруднялся в ответах.

— Хороша робость! — сказал Монжу, — обыкновенное оправдание того, кто ничего



не знает. Вы тоже, вероятно, робки?

— О, нет, нисколько.

— Ну, берегитесь! Было бы умнее отказаться, чтобы по крайней мере не терпеть стыда отказа.

— Для меня был бы большой стыд вовсе не быть экзаменованным.

Благородная самоуверенность молодого человека прекратила неуместные замечания профессора. Начался экзамен и Монжу не мог придти в себя от оригинальности и точности ответов Араго на все его вопросы. Он в один миг разрешал вопросы, задаваемые экзаменатором. Араго показал, что он знает свое дело так глубоко и хорошо, что профессор наконец потерял свою угрюмую физиономию, встал с своего кресла и бросился обнимать молодого человека и вскричал:

— Bravo! Если вы не первым поступите в Политехническую школу, то никто не поступит!

В Париже второй экзамен был производим знаменитым геометром Лежандром, и тогда поступали только достойнейшие.

— Как ваша фамилия? — спросил Лежандр

у Араго, когда тот явился на окончательный экзамен.

— Франсуа-Доминик Араго.

— Араго?.. Это фамилия не французская. Я не допущу вас к экзамену. Можете идти.

Но это не озадачило молодого человека, одаренного хорошою головою и, ловким языком: начался спор, продолжавшийся более двадцати минут.

— Вы иностранец, это ясно! — кричал профессор.

— Позвольте мне отрицать ваше мнение: я Француз самый французский, — отвечал молодой Араго с большою твердостью.

— Нет!

— Да!

— Никогда Француз не носил такой фамилии: Араго!

— Извините. Впрочем, доказательства будут после экзамена, а вы все-таки можете меня экзаменовать.

Лежандр, несколько сердитый на Араго за его твердую самоуверенность и спокойный тон, которого не привык видеть в экзаменующихся, сделал ему знак, чтобы он подошел к

доске. По вопросам его видно было, что он старался поставить молодого человека в тупик. В ответ на это Араго только улыбался, и в ответах своих показывал, что он умеет бороться еще и не с такими затруднениями. Он разрешил пять задач алгебраическими формулами, вовсе неупотребительными.

— Отчего вы держитесь такой методы, а не другой? — спросил Лежандр. Вы станете в тупик, если я попрошу вас доказать, отчего.

— Нет, извините, — отвечал Араго.

Потом он пояснил причины, почему он выбрал этот способ доказательства, а не другой. Чем больше профессор старался завести его в темное место проблемы, или подставить ему преграду, о которую он мог бы споткнуться, тем яснее становился вопрос от объяснений Араго, тем прямее шел он к цели.

Наконец Лежандр протянул обе руки молодому человеку, который скоро должен был сделаться его собратом и другом.

Араго вступил в Политехническую школу, и потом так сделался известен товарищам и начальству как отличный математик, что еще не успев выдержать своего последнего,

выпускного экзамена, был назначен секретарем Обсерватории, а через полгода после того, получил приказание ехать с двумя учеными в Испанию. Там была начата еще в 1770 году тригонометрическая съёмка меридиана для определения диаметра земного шара.

Тут начался для Араго такой ряд несчастий и невероятных приключений, что бедный ученый очень стал похож на хитроумного Одиссея.

Араго с своим товарищем, тоже известным ученым, Био, жил в маленьком городке Паламосе неподалеку от того места, где река Гвадалавиар впадает в море. Био, скучая однообразными занятиями, однажды предложил ему прогуляться на ярмарку в Мурвиетро, на несколько миль расстояния от моря, под тем предлогом, что по дороге они увидят множество римских и мавританских развалин.

На ярмарке в Мурвиетро наши ученые познакомились с одной соотечественницей своей, которая встретила их очень радостно, говорила с ними о родине и самым дружеским образом пригласила их ужинать к своей бабушке. На ужине Араго и Био не обратили

внимания на одного Испанца, который все время посматривал на них очень подозрительно и недоброжелательно, и потому, прощаясь, были поражены удивлением, когда хозяйка украдкой шепнула им на ухо:

— Будьте осторожны! Я прочитала в глазах Педро, что он хочет вас убить.

— Покупаем пистолеты! — сказал Араго, только что они вышли на улицу.

— Зачем? — сказал извозчик, который привез их в Мурвиедро. — Я отвечаю за вашу жизнь, точно так же, как за свою.

Однако Араго его не послушался и тотчас купил два пистолета и ружье.

— Пожалуй, бросайте деньги, если у вас есть лишние; а мой мул защитит вас лучше, нежели оружие.

Поехали. Начало совсем темнеть. Шагов за двести от города был старинный монастырь, в котором монахи давно уже спали; вдруг из-за угла монастырской ограды выскакивают два сильных человека. Они бросаются и хватают мул за узду. Араго, узнав в одном из них своего вечернего соседа, взводит курки, а Био прицеливается в другого.

— Нет, нет, напрасно! Зачем же убивать добрых людей! — сказал извозчик, потом щелкнул бичом и изо всей силы крикнул: *Capitana!*

В ту же минуту мул поднялся на дыбы, этим движением освободился от тех, кто держал его под узцы, кинулся во весь карьер вперед и правым и левым колесом проехал через разбойников.

Как ни спрашивали астрономы, почему слово: *Capitana* имело такое могучее действие на мула, ничего не могли допытаться; это так и осталось тайною извозчика.

Только что они приехали в Паламос и Араго, очень довольный тем, что избежал большой опасности, если не верной смерти, едва только улегся спать, как кто-то постучался к нему в дверь. Он поторопился отпереть, думая, что это какой-нибудь заплутавшийся таможенный сторож.

Но приключения, уж начались, и пошли надолго.

В отворенную дверь вошел гигант широкоплечий, геркулесовского телосложения, в каком-то диковинном костюме, с страшным ли-

цом, с ружьем на плече и с целым арсеналом пистолетов и кинжалов за поясом.

Он требует позволения Араго лечь возле его постели и проспять у него таким образом ночь.

Целую ночь астроном не смыкал глаз, слушал, как здорово храпит его гость, а сам заснуть не смел, потому что подозревал, не притворяется ли разбойник, чтобы усыпить его самого и потом поудобнее перерезать ему горло. Однако он ошибался. Гигант проснулся среди бела дня, именно тогда, когда городничий, с большим отрядом, показался на другом конце улицы, идя в горы, осмотреть кое-какие подозрительные ущелья и пещеры.

— Благодарю вас за гостеприимство, — сказал гигант. — Вот там идут господа, с которыми я в довольно холодных отношениях. Мне не хотелось бы ни раскланиваться с ними, ни говорить.

Тогда он открыл окно выходящее в овраг, выскочил и пропал. Вдали только видно было, как он перепрыгивал со скалы на скалу и через пропасти, как дикий козел.

— У вас ночевал предводитель огромной

шайки разбойников, которая опустошает всю Валенцию, — сказал потом городничий астроному.

— Да он, кажется, прекрасный человек, — сказал Араго, — он мне дурного ничего не сделал.

Почти через неделю предводитель разбойников опять пришел к Араго ночевать.

— Хорошо, — сказал астроном, — с большим удовольствием! Но я знаю, кто вы и так как мне, для наблюдений, придется не раз быть в горах, то не можете ли вы мне дать паспорт в защиту от нападений достопочтенных лиц вашей шайки.

— Это уже сделано, — отвечал гость. — Я уж объяснил своим людям ваши приметы, и вы безопасны во всякое время дня и ночи.

Вследствие этого обещания, Араго спокойно начинает свои ночные прогулки. Всякую ночь то там, то здесь ему попадаются бандиты в засаде, всякий раз останавливают его мула, чтобы посмотреть, что заключается в его чемодане. Араго в своих записках сам рассказывает некоторые из этих встреч.

Однажды вечером подходят к нему четыре



разбойника, с криком.

— Стой, сеньор! Времена нынче трудные. У кого что либо есть, тому надо делиться с теми, у кого ничего нет. Пожалуйста ключ от вашего чемодана: мы возьмем только то, что у вас лишнее.

— Нет, постойте! Мне сказано, что я могу безопасно ездить здесь во всякое время дня и ночи.

— А ваше имя, сеньор?

— Дон Франциско Араго.

— А, это другое дело. Да сопутствует вам Бог.

И разбойники превежливо раскланиваются и рассыпаются в извинениях.

В конце апреля 1807 года были кончены работы Араго и Био в Испании. Био поехал в Париж, а Араго на остров Майорку, чтобы там еще кое-что кончить с другим из своих товарищей, Родригезом. На ту беду тогда объявлена была война между Испаниею и Франциею. Наши ученые, нисколько не заботясь о военных действиях, продолжали съемку. Некоторым из жителей Майорки вообразилось, что ночные сигналы между двумя астрономиче-

скими станциями служат знаками для французского флота, который должен сделать высадку на остров. Хотели схватить Араго, но он успел уйти, переодевшись погонщиком мулов.

Дорогой встречает он толпу мужиков, которые шли с тем, чтобы его убить, указал им другую дорогу, а сам едва мог убежать в Пальму, на испанский корабль. Но чернь узнала его убежище, и в ярости стала требовать, чтобы капитан выдал жертву. Человеколюбивый капитан решился спрятать астронома в пустой ящик; но встретилось маленькое неудобство: из ящика торчали ноги Араго, так что невозможно было закрыть крышки.

— Хорошо же! — вскричал Араго, выведенный из терпенья. — Пускай же меня судят по законам: я сдаюсь военнопленным.

Отряд солдат отводит его в крепость, с трудом сдерживая чернь, которая так и порывалась разорвать астронома на части. Араго рассказал коменданту обо всех своих несчастиях. Тот отвечал, сомнительно и с сожалением пожимая плечами:

— Ну, вы пропали, если не успеете как-ни-

будь уйти из испанских владений. У ворот крепости стоят толпы народа и требуют вашей смерти. Есть фанатики, которые готовы подкупить солдат и сторожей, чтобы вас отравить.

На другой день астроному принесли газету, в которой подробно было описано, как он накануне был казнен. Но он очень хорошо понимал, что эта небылица, выдуманная начальством для успокоения черни, может открыться — на другой же день, и свирепые фанатики потребуют исполнения того, что написано. Родригез, на которого, не падал гнев народа, помог своему товарищу устроить все для бегства. Комендант крепости с намерением смотрел сквозь пальцы, как Араго уложил свои математические инструменты в небольшую рыбацью лодку и уехал. Сто раз лодка эта едва не опрокинулась, сто раз Араго был на волос от смерти, однако наконец добрался до Алжира.

Там жил тогда французский консул. При его покровительстве он нашел себе место в числе пассажиров, отправлявшихся на корабле в Марсель. Переезд совершался счастливо.

Вот уже видны берега Франции, вот вдали, в тумане, чуть ли не Марсель. Вдруг является испанский корсар, захватывает корабль со всеми товарами и пассажирами и отводит его в порт Розас.

Несчастье пошло за несчастьем. Между матросами, свозившими на берег пленников, Араго узнает старинного слугу, который жил у него на Майорке. Едва-едва успел он вернуться с головой в свой плащ и лечь на дно лодки, и этим только мог избавиться от несчастья быть узанным и, может быть, от смерти.

Через несколько времени Араго успел дать знать алжирскому дею, что случилось с его кораблем, который скоро должен был быть объявлен законным призом и продан. Алжирский дей не очень беспокоился о своем корабле и о людях, но ему жаль было, что пропадают редкие звери, которых он посылал в подарок французскому императору.

Дей прислал сказать, что он объявит войну Испании, если она сейчас же не возвратит зверей, корабля, матросов и пассажиров. Таким образом Араго обязан был своим осво-

бождением двум львам и трем большим обезьянам, которых алжирский владетель послал в Ботанический парижский сад.

В ноябре 1808 года корабль в прежнем виде и с прежними пассажирами вышел из порта Розас в Марсель.

Но несчастьям еще не осуждено было кончиться. Сильный ураган охватил корабль и одним порывом снес его далеко в море. Три дня бился капитан против бури и наконец пристал к берегу... только не в Марсели, не во Франции, а в Африке, и именно в Бужии, верст за полтораста от Алжира. Наступила уже совершенная зима, да к тому же кораблю нужно было, по крайней мере, три месяца времени, чтобы исправить все сделанные бурей повреждения.

Араго решился, как-нибудь, добраться до Алжира берегом, чтобы там сесть на крепкий корабль. Но ему сказали, что берег занят враждебными племенами.

— Не беда! — отвечал Араго, — мы пройдем по Атласу.

Все сказали, что это безумное намерение; но Араго вместе с своим товарищем, адъ-

ютантом, остаются непоколебимо твердыми в своем намерении. Взяли они с собой человек шесть матросов и пустились в дальнюю дорогу. Днем их преследовали враждебные Арабы, ночью — дикие звери; попадали они из одной опасности в другую, подвергались тысяче разных смертей, и пришли в Алжир здоровы и невредимы, только благодаря своей хладнокровной неустрашимости. Когда они явились в Алжир, никто не хотел верить их походу.

Не решились они ждать починки корабля в Бужии три месяца, а в Алжире им пришлось прожить в консульском доме полгода. В июне 1809 года Араго опять отправился из Алжира в Марсель. После плавания, довольно благополучного, приближаются к Марсели, уже готовы войти на рейд. Встречает их английский корабль и не дает пристать, угрожая взять в плен. Тут Араго принял начальство над кораблем и счастливо проскользнул в порт.

Он уж был известен во Франции своею астрономическою съемкой и другими учеными трудами, и потому был единогласно избран в члены Академии наук. В тоже время он был сделан профессором Политехнической шко-

лы. Тогда ему было только двадцать три года.

Пришлось так, что он избежал закона конскрипции, вследствие которого всякий молодой человек должен был служить в военной службе. А между тем его воинственный пыл прошел, так что он вовсе не был рад, когда приказание отправиться в полк явилось неожиданно, чтобы оторвать его от любимых ученых занятий. Он отвечал министру, что исполнит его приказание, но явится на смотр не иначе, как в профессорском мундире. Поэтому Араго был избавлен от военной службы.

Товарищи в Академии очень его уважали за его огромный труд измерения дуги меридиана. С конца 1812 года начал он свои публичные лекции астрономии и продолжал их постоянно до 1845 года. Слушателей у него было бесчисленное множество, потому что он говорил так ясно, понятно, и так умел заинтересовать их самыми сухими и отвлеченными частями астрономии, как с тех пор никто не умел говорить. Вот каким образом знаменитый астроном доходил до того, что его понимал всякий, даже самый невежественный из

слушателей: с своей кафедры он выбирал в аудитории одно из самых незначительных лиц, без выражения большого смысла, и относил всю лекцию прямо к нему. Когда плоский лоб слушателя осенялся мыслью и удовольствием пониманья, профессор говорил себе: «Браво! Все меня поняли!» При всякой лекции употреблял он ту же самую манеру. Он называл это: искать своего термометра.

Однажды кто-то звонит у его дверей и непременно желает видеть астронома. Входит сиделец из мелочной лавочки, и рассыпается в изъявлениях благодарности, и от умиления чуть не плачет.

— Вчера, господин Араго, — говорит он, — вы как-будто для меня одного читали лекцию.

Араго сам благодарит его, хоть и едва удерживается от смеха. Это был один из его термометров.

Кроме того, что могущественным умом своим Араго двигал вперед науку, кроме нескольких важных открытий в области физики, он еще знаменит тем, что старался сделать знания как можно более доступными для большинства. Среди ученых работ своих,



он не нашел времени написать ни одной книги, а обо всех своих открытиях или печатал краткие известия в Ученых Записках, или словесно объявлял о них Академии. С 1830 года он был непременным секретарем Академии наук и умел внушить Академии беспримерную деятельность.

Честность его была тоже необыкновенная. Он никогда не хотел принимать таких мест, на которых ему приходилась бы прибавка к жалованью. Он получал 2.750 рублей жалованья, как непременный секретарь Академии наук, и не хотел брать ни копейки за то, что был членом Совета Политехнической школы, директором Обсерватории, и даром читал свои публичные лекции астрономии. После смерти его были напечатаны все его сочинения.



ОДЮБОН.



## XII ОДЮБОН

**В** 1832 году, в лондонских гостиных появил-

ся странный человек, не похожий на всех остальных членов образованного общества. Тесное и смешное европейское платье не могло скрыть на его лице простой, почти дикой красоты, приобретенной наедине с природой. Здравый смысл, простосердечие, оживляли его разговор, не многоречивый, но полный истин, кротости и огня.

У него были длинные, черные, волнистые волосы; в одежде его была изысканная чистота; по длинной прическе, по шее, не стянутой галстуком, по свободным, мужественным его манерам, легко было узнать, что он не Европеец. Человек этот был известный естествоиспытатель Одюбон. Его прозвали тогда в Англии человеком американских лесов, и это имя совершенно обрисовывает его. В лесу он занимался наукой и прошел во всех направлениях американскую пустыню, населенную хищными зверями.

Любовь к природе развилась у него с колыбели. Он проводил дни и ночи под открытым небом, среди своих любимых наблюдений над нравами и жизнью птиц, изучению которых он посвятил всю свою жизнь. Его так же

точно прельщало гнездо орла, свитое на вершине неприступной скалы, как гнездо колибри, привешенное к зыбкому листку на шелковинке. Он с страстью художника предавался своим наблюдениям и преодолевал все опасности и лишения. Засыпая, он и во сне видел своих пернатых друзей, слышал их мелодическое пение.

Вот как он сам о себе рассказывает: «С тех пор, как я себя помню, природа поражала мое воображение и трогала сердце. Я еще не мог понять отношений человека к человеку, а уже почувствовал отношение его к природе; мне показывали цветы, деревья, луга, и я не только забавлялся ими, как всякий ребенок, но привязывался к ним и любил как товарищей. В моем неведении я приписывал им какую-то особенную, высшую жизнь. Я едва помню, как развилась во мне любовь к этим неодушевленным предметам, которая имела влияние на все мои мысли и чувства. Едва я начал лепетать первые слова, которые приносят так много радости и счастья матери, едва мог держаться на ногах, а уже вид разнообразных цветов и цвет лазурного неба приво-

дили меня в детский восторг. С тех пор началось уже мое сближение с природой, сближение, которое никогда не было прервано и которое не прекратится даже и в могиле. За любовь мою к ней, природа сама вознаграждала меня самыми живыми радостями. Я уверен, что эти первые впечатления имели влияние на мое поприще, и на мои будущие труды. Я рос, и потребность, так сказать, беседовать с природой физической не переставала во мне развиваться. Когда я не видал леса, озера, или моря с отлогими берегами, я был грустен и ничем не забавлялся; я старался заменить свои любимые прогулки, населяя свою комнату птицами. Но во всякую свободную минуту я бежал на берег моря искать пещер и каменистых впадин покрытых мохом, где любят водиться только чайки и кармораны с черными крыльями. Мне больше нравилась эта глушь, нежели золоченые потолки и блестящие альковы.

Отец мой, у которого я был единственным сыном, поощрял мой вкус к этим занятиям; он любил забавлять меня цветами, птицами и их яичками. Он был человек религиозный

и поэтический: рассказы его возбуждали во мне те чувства, которые оживляли его самого. В науке он не ограничивался сухим и мертвым разбором предметов, но умел представить мне ее полную жизнь. Он также иногда занимался наблюдениями над птицами, рассказывал мне о их переселениях, заставлял меня подмечать, как проявляется в них страх, радость или ожидание, как с временами года меняются у них перья, и т. д.

В этих живых и разнообразных наблюдениях прошло мое детство. Целые часы проводил я, любуясь гладкими, блестящими яйцами птиц, их постельками, сделанными из моха, которые нежно покачивались на ветках; я любовался гнездами и на скалах, около которых играет освежительный ветер, или ревет опустошительная буря. С восторгом всматривался я, и выжидал того мгновения, когда из неподвижного, мертвого яичка выклеывается маленькая головка с блестящими глазками, и бойко, проворно разбивает слабым носиком остатки скорлупы. Я предавался умом и душою этим чудесам, разнообразие которых меня удивляло. Я любил сле-

дить, как одни из птичек медленно развивались, а другие, едва высунувшись из скорлупы, уже на полете сбрасывали с себя ее прозрачные осколки.

Мне было десять лет; страсть к естественной истории развивалась во мне все сильнее и сильнее. Мне хотелось иметь все, что я видел; желаниям моим не было границ. Меня возмущала даже смерть, которая безобразила мою птицу или животное; я придумывал тысячу средств, чтобы избежать вида этого чудовища, смерти, которая лишала меня предметов моих лучших привязанностей и делала бесполезными мои работы. Я старался бороться с нею, но непрерывные, поправки, которых требовали чучела птиц, набитые мной, бурый и тусклый цвет перьев, прежде таких блестящих, говорили мне, что смерть сильнее меня. Я поверил свое горе моему доброму отцу; в самом деле, не досадно ли, что животные, такие красивые и бойкие, подвергаются от смерти такому печальному превращению и что никакими опытами я не мог сохранить даже наружного их вида. Отец мой, желая утешить меня, подарил мне рисунки, пред-

ставляющие довольно верно птиц, от которых я приходил в восторг, и чучела которых были у меня в комнате.

Я был в восторге от подарка! Наконец-то я нашел образ тех существ, которые я так горячо любил. Этот подарок подал мне мысль, что надо рисовать, чтоб освоиться с природой, и вот я преусердно и предурно принялся копировать все, что видел.

В продолжении нескольких лет, я рисовал и перерисовывал птиц. Эти птицы иногда очень походили на четвероногих животных, или на рыб. Как часто мне было и грустно, и стыдно, когда мои постоянные старания и усилия приводили меня к таким плохим результатам, что я едва сам мог узнавать птиц, которых рисовал; мне было жаль самого себя, когда кисть моя создавала эти безобразные, неправильные, небывалые породы. Но я не приходил в отчаяние; напротив, неудачи возбуждали во мне страсть. Чем хуже были нарисованы мои птицы, тем прекраснее казался мне оригинал. Рисую и перерисовывая их формы, их перья, их особенности, сам не замечая, я с необыкновенною подробностью изучал и



сравнивал признаки птиц.

Во мне была так глубока страсть к этим предметам, что и лета не могли изменить ее; мне кажется, я бы умер, если б захотели отнять у меня мои рисунки; дни и ночи просиживал я над этой работой. Каждый год накаплилось у меня множество дрянных рисунков, которые я сжигал в день своего рождения.

Отцу моему казалось, что я могу быть хорошим художником, и когда мне было 15 лет, он послал меня в Париж, где в мастерской знаменитого живописца Давида, я начал серьезно учиться рисовать. Огромные носы, рты, античные головы лошадей выходили из-под моего карандаша. Но я тосковал; все скульптурные работы, которые заставляли меня срисовывать, казались мне вялыми, бездушными и были лишены для меня всякой занимательности. Я спешил возвратиться в мои родные леса.

Возвратясь в Америку, я опять с жаром принялся за свои любимые занятия, но уж с большим успехом. Я получил от отца моего дар, который был мне вдвойне приятен, как по ценности, так и потому, с какою любовью

он был выбран, чтоб удовлетворить всем моим наклонностям. Он подарил мне великолепную плантацию в Пенсильвании, на речке Шюилькиле и ручье Перкиоминг. Высокие дубровы, волнистые поля, лесистые холмы окружали ее и представляли много живописных видов для пейзажиста. В этом очаровательном жилище моя страсть к изучению птиц еще усилилась. Друзья порицали меня. Мои исследования и занятия требовали значительных сумм денег, которые пропадали без возврата; от этого произошло расстройство в моих делах. Но я не унывал; двадцать лет постоянного труда только усилили огонь, который оживлял меня. К вековым лесам Америки влекла меня neodолимая привязанность. Никакие советы друзей не могли остановить меня; они не понимали блаженства, которое я ощущал, следя своими собственными глазами, а не по книгам, за явлениями жизни природы. Странен казался я им; они считали меня нечувствительным ни к чему, кроме преобладающей во мне мысли; и называли меня сумасшедшим, говорили, что я пренебрегаю своими обязанностями и своим

семейством, для пустых идей. Я предпринимал один долгие и опасные путешествия, я углублялся в столетние, непроходимые леса, целые годы проводил я вдали от родных, бродя по берегам необозримых озер, по обширным лугам и плоским побережьям Атлантического Океана.

Не желание славы влекло меня в эти пустыни, но желание наслаждаться природой. Ребенком хотел я обладать ею; когда я сделался взрослым, то же желание, та же любовь жила в моем сердце. Тогда надежда быть полезным своим ближним еще не закрадывалась в мое сердце, я бродил просто для своего наслаждения. Князь Музиньяно (Люсьен Бонапарт), которого я встретил в Филадельфии, первый начал мне советовать напечатать мои опыты; это было первое поощрение, которое мне было сделано, и оно дало другое направление моим мыслям. Однако ж ни в Филадельфии, ни в Нью-Йорке, где я был очень хорошо принят, я не нашел средств, и потому опять поплыл вверх по широкому течению Гудзона. Лодка моя начала скользить по озерам, которые казались океанами; и опять я

стал наслаждаться моим дорогим уединением.

Коллекция моих рисунков все увеличивалась, и я начал уже думать о славе, и о том, не может ли резец гравера увековечить творение моей молодости, плод постоянного, неусыпного труда. Мечты эти ласкали мое воображение, и я чувствовал больше твердости и постоянства для труда; будущность мне начинала улыбаться.

Прожив несколько лет в деревне Гендерсон, в Кентукки, на берегу Огайо, я отправился в Филадельфию. Мое сокровище, рисунки мои, надежда моя, были с большою заботливостью уложены в ящик; заперши его, я отдал моему родственнику на сохранение, умоляя его заботиться о вещах, столько драгоценных для меня. Я был в отсутствии шесть недель. Возвратясь, я тот час же спросил о ящике. Мне принесли его; открываю, и... как пересказать мое отчаяние, когда вместо рисунков, я нашел только лоскутки бумаги и пыль, покойную и мягкую постель крыс! Они прогрызли ящик и большим семейством поселились в нем; вот все, что мне осталось от работы!

Около двух тысяч пернатых жителей лесов, нарисованных и разрисованных красками моею рукою, были уничтожены. Меня как молотом ударило в голову; нервы мои страшно были потрясены. У меня сделалась горячка, которая продолжалась несколько недель; наконец физические и нравственные силы пробудились во мне.

Я взял ружье, охотничью сумку, альбом, карандаши, и отправился в лес, как будто ничего со мной не случилось, и опять начал рисовать, и был счастлив, что рисунки выходили удачнее, чем прежде. Три года надо было употребить, чтобы снова создать то, что истребили крысы; но — не беда: это было три года наслаждений.

Чем более умножался мой каталог, тем более сокрушало меня то, что в нем еще многого не доставало. Мне все хотелось пополнить его. Но как одному и без средств окончить такое огромное предприятие? Я дал себе слово с своей стороны употребить все свои деньги и труды, чтобы окончить это дело. Каждый день я удалялся более и более от жилищ людей. Так прошло еще восемнадцать месяцев;

труд мой был окончен, я исследовал все закоулки наших лесов и возвратился в Луизиану, где жило тогда мое семейство. Потом, забрав все свои рисунки, я отправился в Старый Свет.

Я приехал благополучно в Англию, но при виде белеющих берегов и города, сердце мое сжалось, невольный страх овладел мною. Что ожидало меня, в этой пустыне людей, где я не имел ни одного друга. Найду ли я покровительство, которое вознаградит меня за мои труды, или ждет меня бедность и забвение? Я стал сожалеть о моих лесах, об издержках, сделанных мной для этого путешествия, и мое предприятие, которое казалось мне прежде геройским, теперь я находил глупым до безумия. Но слава Богу! В Ливерпуле, в Манчестере и в Эдинбурге нашлось много добрых и благородных людей, которые меня приняли, обласкали, помогли мне. Мое признательное сердце счастливо, что может выразить им глубочайшую благодарность».

Так рассказывает о себе Одюбон. Страсть его к науке, страсть, которую можно назвать геройской, принесла достойные плоды.

На Эдинбургской выставке художественных произведений все восхищались рисунками, которые сам Одюбон делал акварелью. Смотря на них, всякий зритель переносился магической силой в леса, где столько лет провел этот гениальный человек. Знатоки и незнатоки были поражены зрелищем, которое трудно описать.

Вообразите себе вид чисто американский: деревья, цветы, трава, оттенки неба и воды, и все это оживлено действительною жизнью. На ветках качаются птицы Нового Света, в настоящую величину, в самых характеристических положениях, с своими особенностями и странностями. На их перьях оттенки блестящие и яркие, как у живых. Вы видите этих птиц в движении или в покое, как они играют или борются, как сердятся и ласкаются, поют, спят, просыпаются, летят, касаются воды. На этих рисунках, как будто видишь Новый Свет с его атмосферой, растениями и животными. Через прогалину леса сверкает солнце: лебедь несется под безоблачным небом над лазурными волнами. Странные и величественные фигуры бродят по берегу океана,

усеянному блестящими камнями, и это олицетворение целого полушария, картина могучей природы, вышла из-под кисти одного человека, темного, неизвестного. Невозможно было не засмотреться на это торжество гения, победившего тысячи препятствий.

Любители художеств уговаривали Одюбона издать его творение. Предприятие смелое: надо было награвировать четыреста огромных рисунков с двумя тысячами раскрашенных фигур. Одна только Великобритания могла доставить необходимые для этого средства; благодаря ее покровительству, творение это напечатано.

Текст достоин гравюр: в нем нет сухой сортировки, или высокопарных описаний, но целые повести из жизни крылатых существ, которые автор изучил в уединении. Одюбон примешивает свою собственную историю к истории своих любимцев. Читатель невольно принимает участие в его приключениях, проходит с ним обширные леса и пустыни Америки, следит за широкими потоками, которые принимают в себя маленькие ручьи и уносят их в море. Он не всегда путешествовал



один, но иногда брал с собой жену и детей. Послушаем, как он говорит об этом:

«Когда я собрался выехать из Пенсильвании, чтоб возвратиться в Кентукки, я взял с собой жену и старшего сына, который тогда еще был очень мал. Было мелководье; я купил плоскодонную лодку, очень широкую и удобную, запасся провизиею, и отправился в путь, взяв с собой двух сильных негров.

Это было в конце октября. Огайо, отец рек, отражал в своих прозрачных водах прекрасные оттенки осени, которые с приближением зимы, золотят и бронзируют листья. Лозы винограда, иногда блестящие, как, черная сталь, или красные, как медь, вились гирляндами около больших береговых деревьев. Сияние дня, ударяя в быстрые волны, отражалось на листьях, потерявших уже свою зелень, и покрытых жарким шафранным цветом, более очаровательным, нежели весенний свежий и чистый цвет. Воздух был тепел; ничто не рябило и не возмущало поверхности воды, кроме наших весел. В спокойствии и молчании ехали мы, любуясь величественно-дикими картинами, нас окружавшими. Иногда стадо

маленьких рыбок, спасаясь от водяной кошки, выскакивало тучею стрел из реки и падало назад серебряным дождем. Редко испытывал я ощущение более глубокое и приятное: возле меня были все, кого я любил, — и прекрасная природа улыбалась нам.

С одной стороны Огайо — высокие холмы, с красивыми вершинами и живописно-отлогими скатами; налево обширные, плодоносные, лесистые равнины тянулись до горизонта; среди реки являются разной величины островки, около которых она тихо извивается; изгибы и повороты ее так причудливо-волнисты, что иногда, кажется, плывешь не по реке, а по большому озеру. На берегу в некоторых местах начинают обрабатывать землю. Вид этот опечалил меня: он грозил скорым истреблением первобытных красок природы.

С приближением ночи, звуки становятся чище, яснее, и производят на душу глубокое впечатление. Вдали слышны колокольчики стад; по реке долетают до нас звуки рожка, на котором наигрывает беззаботный лодочник; вот раздался продолжительный крик боль-

шой совы; глухо рассекая воздух своими крыльями, несется она над водой. С каким благоговейным трепетом прислушиваемся мы к этим разнообразным звукам! Но вот восходит солнце. Обитатели лесов приветствуют пением пробуждение природы. Лань переплывает через реку, пробираясь на юг от северной зимы; там и сям видны следы новых переселений, живописные, только что построенные домики; попадались нам большие лодки с дровами к другим товарам, и маленькие с переселенцами, которые ехали вдаль искать убежища.

Драхв и цесарок было множество; на этих прекрасных берегах без страху летали они около нас; иногда одним выстрелом ружья мне удавалось убивать их столько, чтоб приготовить для всех нас роскошный обед, с которым мы обыкновенно располагались под тенистыми кустами, около жаркого костра из сухих сучьев; и я думаю, ни один гастроном в свете не наслаждался так своим обедом, как мы.

Это путешествие в двести миль оставило во мне очаровательное воспоминание. Два-

дцать лет прошло с тех пор, и дикие, величественные берега Огайо совершенно изменились: исчезли вековые деревья, раскидистые ветви не сплетаются уже над водой в роскошные арки; всякий день топор уничтожает лес, красу холмов и гор. Не встретишь уже более Индейца, украшенного перьями; не пробежит стадо ланей и буйволов, которые шумными караванами прокладывали себе дорогу по прогалинам лесов. Деревни, деревушки, города овладели этой землей, и сколько крови туземцев и новых обитателей слилось с волнами реки, за исключительное обладание ею! Повсюду слышен стук молота и визг пилы, заготавливающей новые жилища. Но если иногда и стихнут инструменты плотника и каменщика, то видишь, как земледелец выжигает целые леса. Так просвещение сеется на развалинах дикой природы. Спокойные воды Огайо покрыты пароходами; дым их темнит воздух и мутит волны „отца рек“».

Чувство истины оживляет описание Одюбона. Этот простой, горячий рассказ, эти убеждения могут принадлежать только гению; сейчас видно, что Одюбон пишет по сво-

им собственным впечатлениям.

Одюбону в продолжительных странствованиях случалось испытывать разного рода опасности. Он очень занимательно рассказывает один из этих случаев.

«Пройдя вверх по течению Миссисипи, — говорит он, — мне надо было перейти одну из тех огромных полян, неизмеримую степь, которая похожа на океан зелени и цветов. Погода была чудесная. Все кругом меня было в цвету, свежо и блестело росой. Я был обут в хорошие мокасины; со мной были верная собака, ружье и охотничья сумка. Тихо шел я по тропинке, проложенной Индейцами, восхищаясь цветами, любясь игрою ланей, которые иногда показывались из густой травы. Солнце начинало уже садиться, а я еще не видал ни одной крыши, ни дома, где бы мог отдохнуть. Ночные птицы, привлеченные шумом насекомых, которые служили им пищей, кружились около моей головы. Но скоро обрадовал меня стон лисиц; он как будто указывал мне близость жилищ, около которых они по ночам бродят.

И в самом деле, я увидел свет, и направил

на него свой путь. В уединенном шалаше, сквозь полуотворенную дверь, видна была женщина, которая переходила там с места на место.

Я вошел в шалаш и спросил у этой женщины, можно ли мне будет провести ночь в ее хижине.

„Да“, — отвечала она, не смотря на меня, грубым и неприятным голосом. Я сел без церемонии на старую скамейку, возле огня. Против меня сидел молодой Индеец. Облокотись на колени, он поддерживал руками голову. По обычаю туземцев, он не пошевелился, увидев Европейца. Путешественники объясняют этот обычай невежеством, ленью и глупостью, и не подумают, что это происходит от величайшей гордости. Большой индейский лук был прислонен к стене; множество стрел и мертвых птиц валялось по земле. Индеец не шевелился и как будто не дышал. Я обратился к нему и начал говорить с ним по-французски. В этих местах, почти все Индейцы говорят на этом языке хотя несколько слов. Он поднял голову и молча показал мне выколотый глаз; кровь текла у него по лицу; осталь-

НЫМ своим глазом он посмотрел на меня очень выразительно, как будто хотел мне что-то дать знать. Впоследствии я узнал, как он лишился глаза: у него сломилась стрела в то время, когда тетива была уже натянута, и ударив в глаз, вышибла его. Я с удивлением смотрел на непреклонную твердость, с какою переносил он мучительную боль; но я не мог подметить в этой твердости ни тени тщеславия, или хвастливости.

Дикарь был хорошо сложен, ловок, здоров; в лице его были видны ум и скромность. Он страдал молча, и, не смотря на мучительную боль, в чертах его оставались еще следы благородной гордости.

Кроватей не было в шалаше; только несколько невыделанных медвежьих и буйволовых кож валялось по углам. Я вынул из кармана красивые часы с репетициею, и взглянув, который час, сказал старухе:

— Уж поздно; я устал и голоден; нет ли у тебя чего-нибудь поесть?

Она бросила на часы огненный и алчный взгляд и подошла ко мне. „Есть, отвечала она, — если вы разгребете немного угля, то

найдете испеченный пирог; есть у меня соленое буйволовоe мясо и свежая дичь. Я сейчас принесу все это. Но какие у вас чудесные, светлые часы! Дайте мне на них посмотреть“. Я снял с шеи часы и цепочку и отдал ей; она взяла их, начала рассматривать со всех сторон, и наконец надела их себе на шею.

— Ах! Вот было бы счастье, — сказала она в восторге, — если бы у меня были такие часы!

Я не обратил внимания на эти слова и оставил у нее без опасения игрушку, которая приводила ее в такой ребяческий восторг, а сам с большим аппетитом занялся ужином. Во время походов моих по американским пустыням, мне никогда не случалось встречать разбойников, и потому неприятная, суровая физиономия и грубый сухой голос старухи, не возбудили во мне ни малейшего подозрения.

Вдруг индеец вскочил с места, прошел возле меня и стал ходить по избушке. Я думал, что волнение его происходило от сильной боли; но он, пользуясь минутой, когда старуха отвернулась, нагнулся ко мне, и устремил на меня такой мрачный и глубокий взгляд, что я



неволью содрогнулся. Удивленный его движениями и знаками, я начал за ним следить. Его, кажется, бесила моя непонятливость. Он сел, потом опять вскочил и, мимоходом, так больно щипнул меня, что я вскрикнул. Старуха обернулась, а он спокойно сел на скамейку, стал рассматривать свой топор и точить на камне охотничий нож; потом он стал курить трубку, бросая украдкой на меня значительные взгляды, блеск которых я уверен, заставил бы опустить глаза человека самого смелого.

Наконец я понял таинственные знаки дикаря: я был в опасности. Взглядом поблагодарив своего покровителя, я взял у хозяйки часы, и вышел из шалаша под каким-то предлогом. Там зарядил свое двуствольное ружье четырьмя пулями, осмотрел курки, переменял кремни, и вошел опять в шалаш. Индеец следил за всеми моими движениями. Я лег на буйволовую кожу, подозвал собаку, поставил возле себя ружье и, закрыв глаза, притворился крепко спящим. Индеец, облокотясь на топор, не трогался с места.

Послышался шум; я открыл глаза и увидел,

что входили два высокие, сильные молодые человека. Они несли убитого оленя. Старуха, мать их, дала им водки они очень много пили, и потом, посмотрев на Индейца и на угол, где я лежал, спросили, кто я и зачем зашел к ним этот собака — дикарь? Они говорили по-английски; Индеец не понимал ни одного слова на этом языке. Мать отозвала их в угол и указывая на то место, где я лежал, начала совещаться с своими достойными сыновьями о средствах, как бы убить меня и воспользоваться часами, которые пробудили ее алчность. Сыновья снова начали пить; мать пила вместе с ними. Я надеялся, что они опьянеют и не в состоянии будут драться. Ударив тихонько ладонью собаку, я взвел курок. Она как будто поняла, что я в опасности, завиляла хвостом, села и стала смотреть на моих врагов, готовясь броситься на них при первом знаке. Индеец сидел неподвижно; одною рукою держал за рукоять охотничьего ножа, другою за топор. Это была чрезвычайно драматическая сцена, интерес которой усиливался тишиною.

Старуха сняла со стены длинный кухон-

ный нож и стала точить его на жернове; я видел как она поливала жернов водою, и не терял из виду ни одного ее движения; полупогасший огонь освещал ее дряхлое лицо, молодые люди, ее сообщники, едва держались на ногах. Индеец сидел по-прежнему спокойно; но рука его сжимавшая топор, готова была поразить первого, кто напал бы на него; ружье у меня было наготове; собака смотрела то на меня, то на злодеев. Эта немая сцена тянулась долго; холодный пот покрывал меня. „Пойдемте, — сказала тихо убийца своим детям. — Он спит; я справлюсь с ним; а вы отправьте Индейца“.

Она стала подходить ко мне тихо, осторожно; ее ноги едва касались земли. Индеец вскочил, размахивая топором, и готов был поразить одного из убийц, а я уже собирался спустить курок своего ружья, как вдруг послышался стук в двери.

Я встал, чтобы отпереть, и увидел двух путешественников из Канады, настоящих Геркулесов. Я от всей души благословлял приход их. Индеец выразительным жестом указал им на сыновей старухи и на едва понятном фран-

цузском языке закричал:

„Они хотели убить этого белого человека и меня, красного! Бог послал вас сюда“.

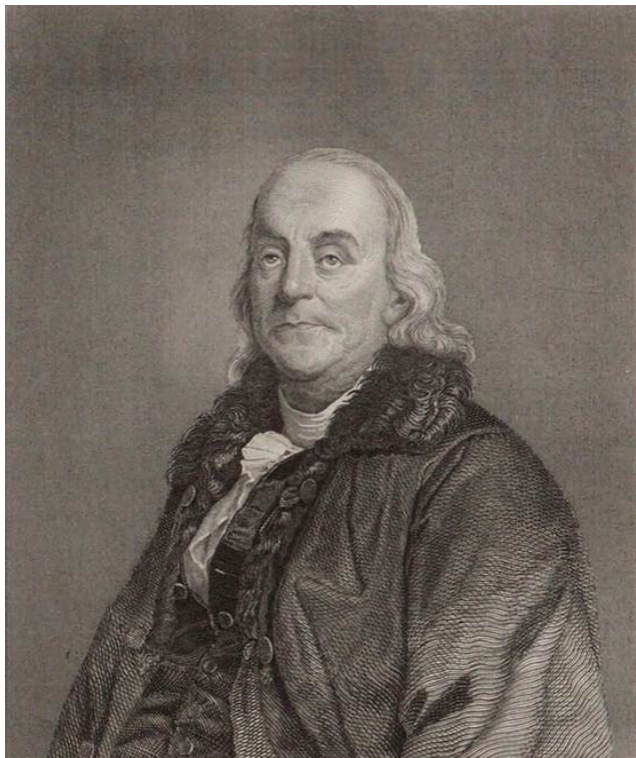
Я подтвердил показание дикаря, и рассказал путешественникам, которые оба были с длинными карабинами, сцену происходившую в шалаше. Обезумленная старуха еще держала в руках нож; пьяные молодые люди не отрекались, что имели намерение убить нас; но старуха никак не хотела сознаться, кричала, проклиная всех, но ничто не помогло; мы связали им руки и ноги. Индеец, по своему обычаю, начал дикую и торжественную пляску. Мы провели ночь в шалаше; утром надо было наказать убийц. Мы развязали им ноги, но руки оставили связанными. В тех отдаленных краях есть странное судопроизводство, введенное колонистами: дом убийцы сжигается, а его привязывают к дереву и секут. Мы выполнили это обыкновение, обратившееся в закон. Шалаш был превращен в пепел; домашняя утварь, меха достались в награду дикарю, а старуха и ее сыновья были подвергнуты постыдному наказанию. После мы отвязали их, и продолжали свой путь, в

сопровождении Индейца, который очень спокойно курил, как будто ничего не случилось».

В своих рассказах, Одюбон невольно переходит от предмета к предмету, и описывает не только обещанную историю птиц, но нравы, обычаи, сцены всего материка северной Америки; он понял, что эти поляны, деревья, реки, как жилища пернатых, были необходимой рамой для его картины. Но его описательная способность достигает высшей степени совершенства в подробных рассказах о жизни птиц, о их войнах и обычаях. Много есть книг по части Естественной Истории, но в них больше всего встречаешь общие места и неполные описания, а он самой изящной и тонкой кистью обрисовывает мельчайшие подробности.



ФРАНКЛИН.



**XIII**

# ФРАНКЛИН

## Его гибель и попытки отыскать его

Джон Франклин родился в Англии в 1776 году; теперь ему было бы уже семьдесят лет. С самого раннего детства он отличался большою любовью к морю и ко всяким опасным предприятиям. Чтобы вылечить его от этого, отец отправил его на купеческом корабле в Лиссабон. Это лекарство произвело противное действие. Только что вернувшись, молодой Франклин записался во флот мичманом. Семнадцати лет, он с своим родственником Флиндерсом, сделал большое путешествие и потерпел крушение на берегах Новой Голландии. Его путешествия в моря на севере Америки начались с 1818 года. Еще прежде Росс старался открыть путь сообщения между Восточным океаном и Атлантическим через северо-американские моря; но это ему не удалось. Франклину поручено было пройти сухим путем от устья реки Медных-Рудников вдоль морского берега и исследовать его, как можно

подробнее и дальше. Ему, вместе с Ричардсоном и Беком, удалось исследовать берега на большое протяжение, но потом, перетерпев невероятные страдания и лишения, полумертвые от голода и холода, они пропали бы еще тогда, если бы несколько сострадательных дикарей не спасли их. Франклин вернулся в Англию, и через шесть лет (1826) опять пустился с теми же товарищами, узнавать море на севере Америки. Забравшись очень далеко на север, он принужден был вернуться, потому что подходила зима, которая грозила затереть их корабль сплошными льдами. После 1830 года он был сделан губернатором Фан-Дименовой земли. В начале 1845 года, только что он вернулся в Англию, как изъявил готовность опять принять начальство над экспедицией, снаряжавшеюся в Северный Ледовитый Океан. *Эребус* и *Террор*, два корабля, на которых Франклин плавал уже на север, очень скоро были снаряжены. Франклин выбрал себе двух надежных помощников, Крозьера и Фиц-Джемса, матросов и служителей было всего 136 человек. 26 июня 1845 года корабли пристали к Китовым остро-



вам, а в последний раз Европейцы видели их в Мельвилевой бухте 26 июля. Там встретился с ними китолов капитан Дэннер.

С тех пор не было больше известий о бесстрашных мореходах. Хотя у них было провианту лет на пять, однако в 1847 году в Англии стали о них беспокоиться. Знавшие полярное море, говорили, что ежели Франклин должен был покинуть корабли, затертые льдами, то он по льду мог бы добраться до твердой земли к устью реки Медных-Рудников или к мысу Тёрн-Эгэн. В инструкциях, данных Франклину Адмиралтейством, было сказано, чтобы он старался пройти в Тихий океан через Берингов пролив, а если это будет невозможно, то вернулся бы в Англию через пролив Веллингтона. С 1848 года были обещаны большие премии тем, кто найдет Франклина с его экипажем, или хотя откроет их следы. Все попытки были напрасны. Думали, что Франклин был принужден покинуть затертые или раздавленные корабли и спасся с экипажем на каком-нибудь неведомом острове. Мореходцы, подстрекнутые денежною премиею, и суда, снаряженные правительством, осмотрели все

берега, к каким только можно было пристать, и не нашли никаких следов. Правительство наконец убедилось, что Франклин с товарищами пропали безвозвратно, и объявило, что не станет более снаряжать новых экспедиций на бесполезные поиски.

В октябре 1854 года доктор Рэ донес адмиралтейству, что он, по поручению компании Гудзонова залива, занимался исследованием мало известной Ботии (Bootia) на берегах Северных морей, и во время своих странствований встретил партию Эскимосов, которые дали вести о Франклине. Эти дикари за четыре зимы перед тем (именно в 1850 году) видели отряд белых людей, человек в сорок. Они пробирались к югу и тащили по льду большую лодку. Они растолковали дикарям, что их корабль погиб между льдами, а что теперь они ищут ланей, или какой-нибудь другой дичи: говорят, что у них было уже очень мало провизии. Через несколько времени после того, но раньше, чем снега начали таять, Эскимосы видели тридцать тел на твердой земле и пять на острове, на большом расстоянии от рыбной реки (вероятно Back's great Fish River).

Некоторые тела были похоронены; может быть, это были первые жертвы голодной смерти. Некоторые трупы лежали в палатках, другие под лодкой, которая была опрокинута. Между трупами, найденными на острове, было, как видно, тело одного офицера; через плечо у него висел телескоп, а возле, на снегу, лежало двуствольное ружье. Судя по положениям, в каких были найдены тела, и судя по истерзанным членам некоторых, ясно было видно, что эти несчастные голодом были доведены до ужасной крайности, до людоедства.

Доктор Рэ доносил еще, что он видел у тех же Эскимосов разные вещи и обломки вещей, наверное принадлежавшие матросам и офицерам погибших кораблей, Эребуса и Террора. Между этими вещами были обломки циркулей, телескопов, и т. п., серебряные вилки, ложки и другое серебро, намеченное начальными буквами имен и фамилий офицеров экспедиции, и стакан с вырезанною надписью: *Сэр Джон Франклин*.

Участь Франклина и его экипажа, кажется, теперь несомненна, особенно если вспом-

нить, что бриг *Renovation* видел 30 апреля 1851 года два корабля, которые казались совершенно покинутыми. Однако весной 1855 года английское правительство снарядило еще последнюю экспедицию, чтобы удостовериться в справедливости донесения доктора Рэ, отыскать виденных им Эскимосов и допросить их хорошенько.

Теперь последняя экспедиция возвратилась и подтвердила все показания Рэ. Она посетила устье реки Рыбной и остров Мэконочи, где, говорят, погиб экипаж Франклина. Тут неподалеку встречены были Эскимосы, видевшие белых и давшие последнее о них известие. На острове найдены остатки лодки, сломанной дикарями на дрова; но по остаткам можно было убедиться, что она принадлежала к кораблям Франклина. На одном обломке дерева было вырезано имя корабля Террор; на другом — вырезана фамилия Станлея, доктора корабля Эребус. Этот обломок — часть лыж, сделанных в Англии из дубового дерева. Но ни бумаг, ни книг, ни тел человеческих не найдено. Эскимосы с большою готовностью показывали все, что они взяли из

европейской лодки; это были жестяные ящики, бочонки, веревки с вплетенною в них красною бечевкой (знак английских казенных веревок), остатки вымпела, мачты, и т. п. Совершенное добродушие этих Эскимосов не дает возможности думать, чтобы они могли сделать какое-нибудь зло полумертвым от голода и холода страдальцам.

Так огромные минеральные богатства на реке Медных-Рудников, впадающей в Северный Ледовитый океан, остаются покамест бесполезными для Англии, по неудобству сообщения с Атлантическим океаном.



# XIV

## ДЖОН ТЕННЕР

Наш знаменитый поэт Пушкин в последние годы своей жизни занимался изданием журнала, и не смотря на торопливую журнальную работу, все статьи написанные по-этом, отличаются и превосходным языком и занимательностью содержания. В кратком извлечении из записок Джона Теннера Пушкин остался верен себе; но объем журнальной статьи или, может быть, торопливость работы не дозволили ему извлечь из записок Теннера многих очень занимательных подробностей относительно переписки между дикарями, страсти их к игре, их гербов, поверий, предрассудков и праздников. По история похищения Джона Теннера и охотничьи похождения дикарей рассказаны с такою простотою и так искусно, как только умел рассказывать Пушкин[24].

\* Отец Джона Теннера, выходец из Виргинии, был священником. По смерти жены своей, он поселился в одном месте, называемом

Эльк-Горн, в недалеком расстоянии от Цинциннати.

\* Эльк-Горн был подвержен нападениям Индейцев. Дядя Джона Теннера однажды ночью, сговорясь с своими соседями, приблизился к стану Индейцев и застрелил одного из них. Прочие бросились в реку и уплыли...

\* Отец Теннера, отправляясь однажды утром в дальнее селение, приказал своим обеим дочерям отослать маленького Джона в школу. Они вспомнили о том уже после обеда. Но шел дождь, и Джон остался дома. Вечером отец возвратился и, узнав, что он в школу не ходил, послал его самого за тростником и больно его высек. С той поры отеческий дом опостылел Джону Теннеру; он часто думал и говаривал: «Мне-бы хотелось уйти к диким!»

\*

\*\* Отец мой[25] — пишет Теннер — оставил Эльк-Горн и отправился к устью Биг-Миами, где он должен был завести новое поселение. Там на берегу нашли мы обработанную землю и несколько хижин, покинутых поселенцами из опасения диких. Отец мой исправил хижины и окружил их забором. Это было

весною. Он занялся хлебопашеством. Дней десять спустя по своем прибытии на место, он сказал нам, что лошади его беспокоятся, чуя близость Индейцев, которые, вероятно, рыщут по лесу. «Джон — прибавил он, обращаясь ко мне, — ты сегодня сиди дома». Потом пошел засевать поле с своими Неграми и старшим моим братом.

\*\* Нас осталось дома четверо детей. Мачеха, чтоб вернее меня удержать, поручила мне смотреть за младшим, которому не было еще году. Я скоро соскучился и стал щипать его, чтобы заставить кричать. Мачеха велела мне взять его на руки и с ним гулять по комнатам. Я послушался, но не перестал его щипать. Наконец она стала его кормить, а я побежал проворно на двор и ускользнул в калитку, оттуда в поле.

\*\* Не в далеком расстоянии от дома, и близ самого поля, стояло ореховое дерево, под которым бегал я собирать прошлогодние орехи. Я осторожно до него добрался, чтоб не быть замеченным ни отцом, ни его работниками... Как теперь вижу отца моего, стоящего с ружьем на страже посреди поля. Я спрятался за



дерево и думал про себя: «Мне бы очень хотелось увидеть Индейцев!»

\*\* Уж моя соломенная шляпа была почти полна орехами, как вдруг услышал я шорох. Я оглянулся — Индейцы! Старик и молодой человек схватили меня и потащили. Один из них выбросил из моей шляпы орехи и надел мне ее на голову. После того ничего не помню. Вероятно, я упал в обморок потому что не закричал. Наконец я очнулся под высоким деревом. Старика не было. Я находился между молодым человеком и другим Индейцем, широкоплечим и малорослым. Вероятно, я его чем-нибудь да рассердил, потому что он потащил меня в сторону, схватил свой томагавк (дубину) и знаками велел мне глядеть вверх. Я понял, что он мне приказал в последний раз взглянуть на небо, потому что готовился меня убить. Я повиновался; но молодой Индеец, похитивший меня, удержал удар, внесенный над моею головою. Оба заспорили с живостью. Покровитель мой закричал. Несколько голосов ему отвечало. Старик и четыре другие Индейца прибежали поспешно. Старый начальник, казалось, строго говорил то-

му, кто угрожал мне смертью. Потом он и молодой человек взяли меня, каждый за руку, и потащили опять. Между тем, ужасный Индеец шел за нами. Я замедлял их отступление, и заметно было, что они боялись быть настигнуты.

\*\* В расстоянии одной мили от нашего дома, у берега реки, в кустах, спрятан был ими челнок из древесной коры. Они сели в него все семеро, взяли меня с собою и переправились на другой берег, у самого устья Биг-Миами. Челнок остановили. В лесу спрятаны были одеяла (кожаные) и запасы; они предложили мне дичины и медвежьего жиру. Но я не мог есть. Наш дом отселе был еще виден; они смотрели на него и потом обращались ко мне со смехом. Не знаю, что они говорили.

\*\* Отобедав, они пошли вверх по берегу, таща меня с собою по-прежнему, и сняли с меня башмаки, полагая, что они мешали бежать. Я не терял еще надежды от них избавиться, не смотря на надзор, и замечал все предметы, дабы по ним направить свой обратный побег; упирался также ногами о высокую траву и о мягкую землю, дабы оставить

следы. Я надеялся убежать во время их сна. Настала ночь; старик и молодой Индеец легли со мною под одно одеяло и крепко прижали меня. Я так устал, что тотчас заснул. На другой день я проснулся на заре. Индейцы уже встали и готовы были в путь. Таким образом шли мы четыре дня. Меня кормили скудно. Я все надеялся убежать; но при наступлении ночи сон каждый раз овладевал мною совершенно. Ноги мои распухли и были все в ранах и в занозах. Старик мне помог кое-как и дал мне пару *мокасин* (род кожаных лаптей), которые облегчили меня немного.

\*\* Я шел обыкновенно между стариком и молодым Индейцем. Часто заставляли они меня бегать до упаду. Несколько дней я почти ничего не ел. Мы встретили широкую реку, впадающую (думаю) в Миами. Она была так глубока, что мне нельзя было ее перейти. Старик взял меня к себе на плечи и перенес на другой берег. Вода доходила ему под мышки; я увидел, что одному мне перейти эту реку было невозможно, и потерял всю надежду на скорое избавление. Я проворно вскарабкался на берег, стал бегать по лесу и спугнул с гнез-

да дикую птицу. Гнездо было полно яиц. Я взял их в платок и воротился к реке. Индейцы стали смеяться, увидев меня с моею добычею, разложили огонь и стали варить яйца в маленьком котле. Я был голоден и жадно смотрел на эти приготовления. Вдруг прибежал старик, схватил котел и вылил воду на огонь вместе с яйцами. Он наскоро что то шепнул молодому человеку. Индейцы поспешно подобрали яйца и рассеялись по лесам. Двое из них умчали меня со всевозможною быстротою. Я думал, что за нами гнались, и впоследствии узнал, что не ошибся. Вероятно, меня искали на том берегу реки...

\*\* Два, или три дня после того, встретили мы отряд Индейцев, состоявший из двадцати, или тридцати человек. Они шли в европейские селения. Старик долго с ними разговаривал. Узнав, (как после мне сказали), что белые люди за нами гнались, они пошли им навстречу. Произошло жаркое сражение, и с обеих сторон легло много мертвых.

\*\* Поход наш сквозь леса был труден и скучен. Через десять дней пришли мы на берег Миами. Индейцы рассыпались по лесу и ста-

ли осматривать деревья, перекликаясь между собою. Выбрали одно ореховое дерево, срубили его, сняли кору и сшили из нее челнок, в котором мы все поместились; поплыли по течению реки и вышли на берег у большой индейской деревни, выстроенной близ устья другой какой-то реки. Жители выбежали к нам навстречу. Молодая женщина с криком кинулась на меня и била по голове. Казалось, многие из жителей хотели меня убить. Однако старик и молодой человек уговорили их меня оставить. По-видимому, я часто бывал предметом разговоров, но не понимал их языка. Старик знал несколько английских слов. Он иногда приказывал мне сходить за водою, разложить огонь и тому подобное, начиная, таким образом, требовать от меня различных услуг.

\*\* Мы отправились далее. В некотором расстоянии от индейской деревни находилась американская контора. Тут несколько купцов со мною долго разговаривали. Они хотели меня выкупить; но старик на то не согласился. Они объяснили мне, что я у старика заступлю место сына, умершего недавно, обошлись со

мною ласково и хорошо меня кормили во все время нашего пребывания. Когда мы расстались, я стал кричать — в первый раз после моего похищения из дому родительского. Купцы утешили меня, обещав через десять дней выкупить из неволи \*\*.

\* Наконец челнок причалил к месту, где обитали похитители бедного Джона. Старуха вышла из деревянного шалаша и побежала к нам навстречу. Старик сказал ей несколько слов; она закричала, обняла, прижала к сердцу своему маленького пленника и потащила в шалаш.

\* Жизнь маленького приемыша была самая горестная. Его заставляли работать сверх сил; старик и сыновья его били бедного мальчика поминутно. Есть ему почти ничего не давали; ночью он спал обыкновенно между дверью и очагом, и всякий, входя и выходя, непременно давал ему ногою толчок. Старик возненавидел его и обходился с ним с удивительной жестокостью. Теннер не мог забыть следующего происшествия.

\* Однажды старик, вышед из своей хижины, вдруг возвратился, схватил мальчика за

волосы, потащил за дверь и уткнул, как кошку, лицом в навозную кучу. «Подобно всем Индейцам — говорит американский издатель его Записок — Теннер имеет привычку скрывать свои ощущения. Но когда рассказывал он мне сие приключение, блеск его взгляда и судорожный трепет верхней губы доказывали, что жажда мщения — отличительное свойство людей, с которыми он провел свою жизнь — не была чужда и ему. Тридцать лет спустя, желал он еще омыть обиду, претерпенную им на двенадцатом году!»

\* Зимой начались военные приготовления. Старик Монито-о-гезик, отправляясь в поход, сказал Теннеру: «Иду убить твоего отца, братьев и всех родственников...» Через несколько дней он возвратился и показал Джону белую, старую шляпу, которую он тотчас узнал: она принадлежала брату его. Старик уверил его, что сдержал свое слово, и что никто из его родных уже более не существует.

\* Время шло, и Джон Теннер начал привыкать к судьбе своей. Хотя Монито-о-гезик все обходился с ним сурово, но старуха его любила искренно и старалась облегчить его

участь. Через два года произошла важная перемена. Начальница племени Отавуавов, Нетно-куа, родственница старого Индейца, похитителя Джона Теннера, купила его, чтоб заменить себе потерю сына. Джон Теннер был выменен на бочонок водки и на несколько фунтов табаку.

\* Вторично усыновленный Теннер нашел в новой матери своей ласковую и добрую покровительницу. Он искренно к ней привязался; вскоре отвык от привычек своей детской образованности и сделался совершенным Индейцем; и теперь, когда судьба привела его снова в общество, от коего был он отторгнут в младенчестве, Джон Теннер сохранил вид, характер и предрассудки дикарей, его усыновивших.

\* Записки Теннера (прожившего тридцать лет в пустынях Северной Америки между дикими ее обитателями) представляют живую и грустную картину. В них есть какое-то однообразие, какая-то сонная бессвязность и отсутствие мысли, дающие некоторое понятие о жизни американских дикарей. Это длинная повесть о застреленных зверях, о метелях, о



голодных дальних путешествиях, об охотниках, замерзших на пути, о скотских оргиях, о ссорах, о вражде, о жизни бедной и трудной, о нуждах, непонятных для чад образованности\*.

Хотя Пушкин совершенно справедливо называл Записки Джона Теннера однообразными, скучными, однако по ним можно составить себе довольно ясное понятие о физической и духовной жизни северо-американских дикарей, которые скоро совсем исчезнут с лица земли, вытесненные образованностью.

Северо-американские дикари живут охотой, и потому самый неутомимый ходок между ними и самый лучший стрелок считается великим человеком, потому что кормит свое племя. Несмотря однако же на то, что необходимость заставляет их охотиться без устали, часто им случается голодать от недостатка дичи, или неудачи. В такое несчастное время — не то, чтобы они ели не досыта, они ровно ничего не едят. Напрасно отыскивая дичи по два и по три дня, они часто бывают доведены до того, что едва могут волочить ноги, воз-

вращаясь домой, то есть, в бедный шалаш, в который из всех щелей ветер наносит сугробы снегу. Возвратясь, они убивают свою последнюю тощую собаку, которая едва могла идти домой, после неудачной, бесплодной охоты, и едят ее худое, жилистое мясо. Подкрепившись этою неприятною пищей и отдыхом в прозрачном шалаше, они встают еще до свету и отправляются опять на охоту; потому что иначе есть вовсе нечего. Женщины и дети, между тем остаются в шалаше и грызут старые мокасины и ремни, которыми привязывали их к ногам; некоторые сгрызают без остатка кости собаки, съеденной накануне.

К такой печальной жизни, конечно, надо быть приготовленным с детства и, при воспитании детей, дикари обращают большое внимание на то, чтобы приучить сына, или дочь не есть как можно дольше. Бедные дети иногда не едят ровно ничего дня по четыре, по пяти. Джон Теннер, вероятно, преувеличивает, уверяя, что есть дети, которые не едят по десяти дней. Во все это время они пьют только воду, и то понемножку, и раза два, много три в день. По утру, когда обыкновенно дика-

ри завтракают, отец дает своему маленькому сыну, уже голодающему два дня, одной рукою кусок жареной дичины, например мяса оленя, лося, или медведя, а другою уголь. Если дитя не бросится с жадностью на жаркое, а напротив, возьмет уголь, то отец приходит в восторг. Он не знает, как выразить свое удовольствие: и хвалит своего сына, и гладит его по головке, и носит на плече, а сам между тем тут же, в глазах голодающего ребенка съедает его порцию. С самого раннего детства ребенок привыкает уже скрывать свои чувства и ни за что не покажет, что ему хочется есть, и с явным равнодушием смотрит, как ест его отец. Он знает очень хорошо, что и отец в детстве прошел точно такую школу, может быть, даже видал, что зимою, во время настоящего, а не искусственного голода, отец сам не ел по три дня, а детей все чем-нибудь да кормил.

Сын всегда наследует прозвище, или лучше сказать герб своего отца. Имена их изменяются часто: один и тот же человек иногда переменяет имя раз десять в жизни. По большей части это случается в каких-нибудь важных обстоятельствах, например, после войны,

за какие-нибудь особенные подвиги, человека называют или соколиным глазом, или орлиной лапой, или волчьим зубом, и т. п. Но герб остается на всю жизнь и непременно переходит не только к детям, но даже ко всем военнопленным, вступающим в семейство победителя, взявшего их в плен. Индейцы уверяют, что ежели в двух враждебных шайках встретятся два человека с одинаковым гербом, то они должны обращаться друг с другом не только как друзья, но как братья, дети одного отца. И это часто так случается, потому что у человека, имевшего гербом своим журавля и жившего лет триста, или пятьсот тому назад, бывает иногда столько потомков, что они и не знают друг друга не только в лицо, но и по имени, хотя и имеют одинаковый герб. От этого и сражения иногда оканчиваются очень миролюбиво. При встрече враги объявляют свои гербы, и если окажется, что в гербе обоих предводителей щука, то вместо драки происходит пожатие рук, целованье и тому подобные нежности. Этот обычай, разумеется, гораздо благоразумнее и благороднее того, вследствие которого Рустем дрался с Зо-

рабом, не говоря друг другу своих имен и своего происхождения: отец убил сына, потому что какое-то дикое понятие о чести делает зверьми двух людей, встречающихся с оружием в руках.

У многих Индейцев на груди, или на руке нататуированы их гербы, у одного медведь, у другого щука, у третьего белорыбица; олень, белоголовый орел, сокол, водяная змея, сучковатое дерево, чайка, — все это очень известные гербы. Эти гербы служат Индейцам и для передачи друг другу известий не изустно, а письменно, хотя собственно говоря, у них и нет письменности.

Когда нужно дать знать человеку своего племени о каком-нибудь важном событии, дикарь выбирает близ переправы через реку, или близ перекрестка двух тропинок такое место, на котором всякий особенно внимательно осматривается. Такие места хорошо известны дикарям на пространстве нескольких сот верст. Индейцы знают очень хорошо, около какого времени и откуда придется их родичам проходить к такому, или другому месту охоты, или к какому-нибудь поселению

белых для размена бобровых шкур на капканы, или на что другое. В таких-то местах они втыкают в землю расколотую сверху палочку, а в щель ее вкладывают кусок бересты; на этой бересте изображено то, что они хотят сообщить. Так Джон Теннер получил однажды известие об убийстве, совершенном его братом. Перейдя через реку в обычном месте, он увидел кусок бересты на палочке. Сначала он, конечно, не знал, что это письмо адресовано к нему, потому что много Индейцев ходит по той же дороге. Всмотревшись ближе, видит он, что на коре нацарапана гремучая змея. К ней прикасается рукоятка ножа, а его острие вошло в медведя, стоящего с опущенною к земле головой. Возле змеи была еще нацарапана бобровая самка. Рассмотрев это, Джон Теннер понял, что письмо это писано к нему. У его названного брата, Уа-ме-гон-э-бью, в гербе была гремучая змея и он был сын женщины, гербом которой был бобр. Немногие из того племени имели гербом медведя, и Теннер догадался, что убит был молодой человек по имени Ке-за-зунс. Опущенная голова медведя показывала, что он был убит, а не ранен.

Получив такое известие, Теннер поспешил туда, где совершилось преступление. Уа-ме-гон-э-бью сам выкопал большую яму. Родственники и друзья убитого опустили туда тело покойника. Тогда убийца сбросил с себя всю одежду, стоя на самом краю ямы, взял за острие свой нож и предложил его ближайшему родственнику убитого. «Друг мой — сказал он — я убил твоего брата; ты видишь, что я выкопал яму, довольно широкую для двоих; я готов лечь в ней спать возле него».

Первый, второй и наконец все родственники и друзья убитого молодого человека не приняли ножа, предложенного убийцей. Может быть, они боялись могущественной родни преступника, а может быть, находили, что убийца прав, потому что покойник рассердил его, назвав *безносым*. В извлечении Пушкина из Записок Джона Теннера рассказано, как во время ссоры пьяный старик откусил нос Уа-ме-гон-э-бью, названного брата Теннера.

Индейцам довольно часто случается писать друг к другу, и всегда почти они пишут очень понятно. Гербы своего племени они знают очень хорошо, а когда на бересте наца-

рапают изображение человека, то это значит, что он чужого племени, по большей части неприятель. Когда хотят уведомить своих родичей, что одна ватага из нескольких семейств голодает, по недостатку дичи, то царапают на бересте гербы этой ватаги, а рты красят белой краской, или просто делают ножом на месте рта дырочку.

Увидев такое письмо, родственники, у которых есть запас дичи, спешат на помощь к голодающим братьям, и если застают их еще в живых, то выручают из беды. Чаще всего случается, что надо только раз покормить семью бедного дикаря и его самого, чтобы избавить их от голодной смерти. Бывает, что отец семейства, или сын, тот, кто добывает для всех остальных пропитание, так изнурен бесполезною ходьбою, что его надо покормить только раз, подкрепить его силы, чтобы ему только можно было опять пуститься на охоту. Тогда он, может быть, будет так счастлив, что нападет на след бизонов.

Не мудрено, что когда ему опять грозит голодная смерть, в случае неудачи, он подползает к бизонам осторожнее лисицы.



Едва только бизоны услышат малейший шорох, тотчас в них пробуждается дикая недоверчивость, и в ту же минуту они с любопытством и со страхом поднимают головы. Дикарь осторожно припадает к земле и готов неподвижно лежать целый час, до тех пор, пока звери не успокоятся совершенною тишиною.



Тогда он опять ползет еще осторожнее прежнего и опять долго лежит неподвижно, если заметит в стаде малейшие признаки бес-

покойства. Подобравшись на расстояние ружейного выстрела, он готовится стрелять, и не торопится, потому что если второпях промахнется, то испуганные выстрелом бизоны убегут на несколько верст, может быть, верст на двадцать, на тридцать. Достанет ли сил снова пускаться за ними в погоню? А что если случится осечка?.. А дети голодают...

Хорошо еще, что среди таких бедствий, у этих дикарей есть твердое убеждение, что после смерти они возвратятся к Великому Духу и там, у него, будут охотиться в лесах, необыкновенно обильных всякою дичью. Они уверены, что и прежде земной жизни душа или, как они говорят, их тень жила с Великим Духом. У Джона Теннера есть описание кончины одного дикаря:

«На берегу озера Виннипега я остановился, потому что тогда еще не кончилась война между Соединенными Штатами и Англиею, и потому нельзя было безопасно переходить границы. Ко мне скоро пристали Пе-шо-бэ, Уазе-квау-мет-кун и многие другие, счетом три шалаша. Уау-со, старый товарищ Пе-шо-бэ,

был нечаянно застрелен на охоте. Мы жили вместе в совершенном довольстве и удовольствии. Но Пе-шо-бэ очень скучал после смерти своего товарища, а вскоре и захворал очень опасно. Он был уверен, что конец его не далек, и часто говорил нам об этом.

Однажды он мне сказал: „Я помню, что прежде чем я пришел жить на этот свет, я был там, вверху, с Великим Духом. Я часто смотрел вниз и увидел на земле людей. Я видел много хорошего и желанного на свете, и между прочим прекрасную женщину. Как я смотрел на нее всякий день, то Великий Дух раз мне и говорит: Пе-шо-бэ, любишь ли ты женщину, на которую так часто смотришь? — Я отвечал: Да. — Ну, отвечал Он, так ступай на землю, поживи там несколько зим: ты не долго там останешься. Смотри же, будь всегда кроток и добр с моими тамошними детьми. — И я никогда не забывал того, что мне сказал Великий Дух. Я всегда держался в дыму между двумя враждебными шайками, и теперь отсюда слышу голос, говоривший мне перед тем, как я стал жить на земле. Голос говорит, что я тут уж не долго останусь. А ты, брат, ты

станешь печален, как я тебя покину; только не походи же на женщину: скоро и ты пойдешь по моим следам“. Тогда он надел новое одеяло, которое я для него выменял, вышел из шалаша и долго смотрел на небо, на солнце, на озеро, на дальние горы. Потом он опять вошел и сел на свое обычное место. Через несколько минут он перестал дышать».

Стойкость дикарей в страданиях, даже смертных едва вероятна. Случается, что они сами из себя вынимают пули, а эту операцию белый едва может выносить, когда он делает ее даже не сам. Один из друзей Теннера, прозванный Пэ-ки-кен-ни-гэ-бо, то есть стоящий в дыму, получил жестокий удар, раздробивший ему плечевую кость левой руки. Рана день ото дня разбалчивалась. Он просил многих Индейцев и всякого встречного белого, отрезать ему руку, или по крайней мере помочь ему сделать эту операцию; никто не хотел.

Однажды остался он в шалаше один. Он взял два ножа, один отточил как можно лучше, другой зазубрил пилой, и правою рукою сначала обрезал себе мясо на левой, а потом, зажав кисть руки между коленами, перепи-

лил кость выше локтя и бросил свою руку как можно дальше. перевязав кое-как остаток, он заснул, и друзья нашли его в этом положении. У него вышло пропасть крови; недолго был он болен, поправился, и не смотря на то, что у него не доставало одной руки, все же был великим охотником. С тех пор его стали звать не прежним именем, а Кош-кин-ни-кэт (безрукий).

Как все необразованные люди, Индейцы верят разным заговорам, снадобьям и талисманам. Когда охота не удается, они принимают за снадобья, которые, по их мнению, доставят им верный успех. Особенности знахари готовят эти снадобья. Чаще всего это различные корни растений, истолченные в порошок и смешанные с красноватою землей. Все это в кожаном мешочке дикари носят с собой. Когда они хотят убить лося, или какое другое животное, то царапают его изображение на бересте, потом острием ножа прокалывают то место, против которого приходится сердце и в разрез кладут немножко снадобья. Правда, что это средство очень действительно, и если дикарь набредет случайно на лося,

если ему удастся довольно осторожно подойти на выстрел и если не сделает он промаха, или не случится осечки, то охота обыкновенно бывает счастлива. Надобно только, чтобы во время приготовления снадобья пелась надлежащая песня; эти песни, большею частию, если и заключают в себе какой-нибудь смысл, то очень скрытый, так что его и не найдешь. Часто они поют такую песню:

*«Встану я и пойду в поход; когда увижу зверя, то выстрелю.  
В сердце тебе ударю, в сердце тебе, зверь, попаду! В сердце тебе попаду, в самое сердце!  
Я — как огонь! Я притяну воду и сверху, и снизу, и со всех сторон!  
Вот я каков, вот каков я, братцы!  
Во всякого зверя, во всякого, метко попаду, братцы!»*

Вот и другая песня, которая поется по такому же случаю:

*«Я гуляю по ночам, гуляю.  
Я слышу твой голос; ты не добрый дух, а злой.  
Теперь я поднимусь выше земли.*

*Теперь я дикая кошка, найдите это! — Я дикая кошка. Я рад, что и вы все дикие кошки. Я дух; все что у меня есть, отдаю я вам. А вас язык убивает; у вас слишком много языка!»*

Ясно, что поэзия северо-американских Индейцев находится в младенчествующем состоянии, но что в ней есть уже несколько того, что Пушкин называл поэтической бессмыслицей. В песнях Якутов и Гренландцев воспеваются только однообразная и скучная действительность, их окружающая.

Северо-американские Индейцы очень любят праздники и пиршества, и иначе быть не может. У них нет другого занятия, кроме охоты, а если охота удачна, то есть, если в одно утро убито довольно дичи, чтобы быть сытым несколько дней, то остается сидеть только сложа руки. Опять отправляться на охоту нельзя, потому что слишком большой запас мяса может испортиться, а погребов, набитых льдом, у них не бывает. Поэтому, в ту пору, когда дичи много, пиры не прекращаются.

Дикари думают, что тот, кто больше всех за-  
дает пиров, или заставляет народ гулять, тот  
и великий человек. Это очень справедливо у  
Индейцев, потому что для частых пиров надо  
убивать много дичи; а при их образе жизни  
ловкий охотник — в самом деле, великий че-  
ловек, потому что он кормит не только свою  
семью, но тоже часто и несколько других.

Праздники даются по разным случаям. Ча-  
ще всего бывают праздники в честь охотни-  
чьих снадобьев. Всякий хороший охотник, по  
крайней мере, один раз весной и один раз  
осенью угощает соседей в честь своих успе-  
хов, которыми обязан, по его мнению, своим  
снадобьям.

Праздник войны дается обыкновенно на-  
чальником. Он угощает всех своих сподвиж-  
ников, которых бывает немного, человек два-  
дцать, тридцать, и очень редко больше ста.  
Жарится обыкновенно цельная дичина, би-  
зон, лось, или медведь, и редко только поло-  
вина.

Товарищи должны есть все, без остатка и  
запивать растопленным медвежьим салом,  
которое подается тут же в большом горшке,





вместо воды. Когда человек не съест всей своей части, то над ним жестоко смеются. Часто случается, что он принужден бывает откупиться от еды табаком. В таком случае, если ни один из собеседников не захочет есть того, что другой не доел, то приглашается посторонний, который и не будет участвовать в походе. Индейцы никак не могут объяснить, почему следует непременно все есть и доедать через силу; но кажется, что они в этом случае несколько подражают соколу и другим хищным птицам, которые никогда не принимают два раза за одну и ту же дичину.

Война между дикарями ведется очень бла-

горазумно и очень последовательно. Во-первых, отправляется их столько, чтобы остальные молодые и крепкие люди легко могли прокормить женщин, детей и стариков всего племени. К несчастью, расчеты иногда бывают неверны, и тогда голодная смерть истребляет половину племени.

Походы в неприятельскую землю не всегда оканчиваются сражением. Напротив, очень часто бывает, что дикари соберутся большою шайкой, человек во сто, отправятся, пройдут по лесам, среди всевозможных лишений, несколько сот верст, придут в леса, занятые неприятельским племенем, и остановятся. Весь успех похода состоит у них в том, чтобы не встретиться с неприятельскими отрядами, а напасть на селения, где воины оставили жен, детей и стариков, тогда как немногие молодые люди почти все время свое проводят на охоте. Но как попасть в безоружное селение, не встретясь с вооруженными отрядами? Это дело трудное. В бесконечных лесах легко попасть на засаду. В походе по густому лесу, в чужой земле, неподалеку от неприятельских селений, враги, может быть, сидят тут же, на

деревьях, за деревьями, в кустах, и одним залпом, может быть, сразу уничтожат всех наступающих. Положение очень опасное, очень трудное; поэтому дикари подвигаются вперед очень медленно и осмотрительно. Успех дела зависит от того, кто первый заметит неприятелей. Враги идут врассыпную, на расстоянии нескольких верст, держась друг от друга так далеко, чтобы только был слышен условный крик. Это самое трудное время для молодых воинов и самое удобное для того, чтобы отличаться пронизательностью взгляда, верностью руки и вниманием. Всякая сломленная ветка, помятая травка, всякий след разложенного огня считаются важными признаками. Если бы путешественнику-Европейцу случилось попасть в середину такого отряда, он подумал бы, что в лесу на несколько десятков верст кругом нет ни души: так все тихо со всех сторон и неподвижно. Случается даже, что две враждующие шайки дикарей встретятся в лесу и смешаются; и тут слышно бывает, как трещат со всех сторон кузнечики, как ползет змея, как на расстоянии нескольких десятков сажен посвистывает синичка; а лю-

дей не слышно. Дикарь — Черная Утка, по слабому движению ветвей в кустах, приметил врага, Соколиную Лапу, который ползком крадется к своему неприятелю, Бурому Волку, чтобы напасть на него сзади, и поразить томагавком. Выстрел из ружья мог бы помешать успеху многих товарищей, которые, может быть, тоже подкрадываются к врагам. А Бурый Волк лежит неподвижно, едва заметный в частом и высоком папоротнике и всматривается в чащу, где видит неприятеля. Соколиная Лапа ползет осторожнее змеи, считывая в тоже время, что его может увидеть другой неприятель; а Черная Утка высокими кустами забегает ему наперерез. Но все они боятся на шуметь и убийством одного врага, сильно повредить общему делу. Однако Соколиная Лапа приполз так близко, что одним прыжком уже очутится возле врага и поразит его смертельным ударом по обнаженному затылку. Вот он осторожно приподнимается, поднимает руку с томагавком, и в то самое мгновение, как бросается на Бурого Волка, неверно направленная пуля Черной Утки царапает ему плечо; а Бурый Волк, кото-

рый давно прислушивался к шелесту подкрадывающегося врага, в одно мгновение обертывается на спину и подставляет длинный нож под самую грудь Соколиной Лапы, который без дыхания падает на ловкого врага и обливает его своею горячею кровью. Между тем Черная Утка крикнул страшным голосом: но воинский крик его замер в лесу без ответа, и опять все кругом тихо, как в могиле. Бурый Волк ловко обрезал кожу на черепе своего мертвого врага, ухватив его за чуб, одним поворотом руки сдернул с него кожу и заткнул себе за пояс окровавленные волосы покойника, между тем как последние судороги сводят еще посиневшие губы.

Воинский крик Черной Утки не пропал даром. Он был слышен в лесу версты на четыре. Дикари уверяют, что воинский крик, сес-се-кви, всегда сильный и пронизательный, устрашает робких, но оживляет храбрых воинов. Действие его даже на животных — удивительно. Случается, что бизон, испуганный внезапно раздавшимся возле него воинским криком, падает и не может ни встать, ни сопротивляться. Даже медведь от этого крика

иногда пускается опрометью бежать из своей берлоги или, как мешок, падает с дерева, на котором доставал мед.

На воинственный крик товарища, дикари не сбегаются со всех сторон, потому что они не любят открытого рукопашного бою: они никогда не отказываются от хитрости, хотя и силу свою употребляют в дело, когда придется. Они утверждают, что человек во всех обстоятельствах жизни должен развивать и пускать в оборот все свои дарования.

Част дикарей мало-помалу и с прежнею осторожностью сходится к тому месту, где раздался крик, а другая часть окольными путями пробирается в ту сторону, где оставленное без защиты селение. Там происходят открытые жестокости, там — настоящая война со всеми ее ужасами. В лесу происходит несколько десятков поединков, а в селении прямая кровопролитная война. Дело состоит в том, чтобы набрать трофеев и добычи, и исполнить некоторые давно задуманные задушевные намерения.

Добыча состоит из кожаных или шерстяных одеял и звериных шкур, трофеи состоят

из волос женщин, детей и мужчин, содранных с головы вместе с кожей. Сверх того, каждый дикарь, когда-нибудь потерявший сына, брата, любимую сестру, берет с собой какую-нибудь вещицу, которая очень нравилась покойнику. От этого в походном мешке дикого воина, между разными снадобьями и талисманами, попадает или стеклянное ожерелье, или курок старого сломанного ружья, или детская игрушка, например, кукла, грубо вырезанная из дерева, или половинка детского лука. Ворвавшись в неприятельское селение и истребляя там, как можно больше людей, дикарь непременно распорет ножом грудь и живот теплого неприятельского трупа, потом достанет из своего мешка вещицу, принадлежавшую любимому покойнику, и вложит ее в средину трупа между внутренностями. Тогда, по мнению дикарей, душа, или, как они говорят, тень убитого бывает удовлетворена и успокоена.

Дикари уверены, что тень человека оставляет тело, когда оно очень нездорово. Поэтому смертельно-больной человек считается у них мертвым. Говорится даже, что такой-то

был мертв, да потом опять воскрес, если выздоровел от тяжелой болезни. Когда выздоравливающий человек неосторожен, то его прямо упрекают в том, что он, верно, хочет опять потерять свою тень. Когда умирает какой-нибудь известный вождь, то ему приготавливают могилу довольно далеко от селения, и относят туда на особенных носилках, сделанных из зеленых ветвей. Все племя провожает покойника до могилы и мужчины поют все вместе:

«Брат, не печалься! Ты пошел по тропинке, проложенной отцами; и мы пойдем по этой тропинке, и все люди за нами».





# XV ПОСЛЕДНИЙ ИСПАНСКИЙ ПРЕДВОДИТЕЛЬ В АРАУКО

В то время, когда Европа занята была кровопролитными подвигами Наполеона I и его ужасными неудачами в России, в Южной Америке происходили войны за независимость. Европа не обращала на них внимания; но и в тех войнах были побоища, уступавшие, конечно, европейским в многочисленности жертв, но превосходившие их по ожесточению. Испанская область Чили билась за свою независимость с львиною храбростью; чилийские милиции патриотов беспрестанно разбивали неприятелей и не щадили никого, ни тех, кто сопротивлялся, ни тех, кто был принужден сдаться. Следующий рассказ, заимствованный из журнала, издающегося в Чили, относится к той поре, когда патриоты во всех пунктах одерживали верх над небольшими остатками испанских войск.

## I

Освобождение Чили из-под чужеземного

ига уже было несомненно в ту пору, о которой мы собираемся рассказывать.

Все города на север от реки Мауле начинали устраиваться, хотя почти во всех были еще явные следы беспорядка, от новости положения и от привычки к походам, поражениям, победам и бивуачной жизни, потому что война продолжалась уже четырнадцать лет.

Область Конценцион, все это время бывшая театром борьбы, была выжжена, разграблена, поочередно, то дикарями, то разбойниками, то испанскими войсками. Но в этой несчастной области еще остались местами непроходимые леса и плодородные поля, так что она довольно легко собиралась с силами и выздоравливала от продолжительной борьбы. Самый страшный из разбойников, опустошавших города и деревни в эту кровавую пору безначалия, Бенавидес, был казнен 23 февраля 1823 года на большой площади в Сантьяго.

Однако по берегам реки Биобио оставалось еще несколько испанских отрядов, которые бродили там и сям, как редкие облака, бродячие по небу после большой грозы.

Самый многочисленный и самый страшный из этих отрядов был под начальством полковника Пико. Это был человек храбрый до чрезвычайности; да сверх того, привычка к войне и к ежеминутным опасностям сделала его жестоким, кровожадным, так что если он давно не видал крови, то начинал скучать. Он был в союзе с несколькими арауканскими дикими племенами, которых привлекала к нему приманка убийства и разбоя. Из отряда Пико никто никогда не сдавался, за то же никого и не брали в плен: побежденные непременно должны были умереть. Пожары и всевозможные средства истребления, обозначали те места, где останавливался Пико. Тогда он уже не заботился о чьих-нибудь правах. Нет, его мучило адское бешенство, неодолимая жажда крови и мщениия, какое-то чутье уничтожения, как у тигра.

Он был человек лет сорока, огромного роста, сильный, загорелый. Привычки его и одежда были сообразны с его отчаянным существованием, а взгляд был мрачен, как будто все выбирал, куда лучше ударить кинжалом. Два глубокие шрама безобразили его ли-

цо, и без того непривлекательное, а сила была такая, что сделала бы честь не только Кастильянцу, но и какому-нибудь арауканскому Кацику. Эта то сила и составляла все то обаяние, которым держалась в повиновении его неустроенная шайка удальцов. Вследствие обстоятельств, среди которых он возмужал, он был до крайности недоверчив ко всем окружающим, так что у него не было других друзей, кроме собаки, называвшейся однако Неприятелем. Собака была его единственным стражем во время сна и самым верным его телохранителем.

31 августа 1824 года ватага Пико расположилась на бивуаках в Квилапало, неподалеку от Кордильеров и от истоков богатой реки Биобио. Дождливое время года только что кончилось. Пико хотел усилить военные действия и собирался решиться на что то необыкновенное, — не для того, чтобы дойти до переговоров, — это казалось ему делом невозможным, — а для того, чтобы пробиться к морю и бежать из Чили, где ему грозили только бесполезные опасности. Голова его не была оценена, но всякий знал, что окажет

отечеству огромную услугу, если погасит эту враждебную жизнь. Пико лучше всех знал всю опасность своего положения. Дожди июля и августа месяцев помешали его операциям и пресекли всякое сообщение, какое только могло существовать между ним и немногими его соумышленниками. Он не знал нисколько их, ни где они, ни велики ли гарнизоны тех укреплений, через которые приходилось ему пробиваться. Ничего он не знал, чтобы иметь какую-нибудь вероятность в успехе. Поэтому он послал несколько разведчиков по обоим берегам Биобио и решил-ся дожидаться от них известий.

Лучшие солдаты Пико были пехотинцы, всего человек сто, слабый остаток блестящего войска Озорио, победителя при Каухарайадас и побежденного при Маипо. Они помещались в Квилапало, в развалинах большой овчарни, а союзники их, Арауканы, остановились где кому случилось, кругом, в лесу, и их крики день и ночь раздавались со всех сторон, как-будто лес был населен тысячами диких зверей.

Сам Пико выбрал себе сколоченный из до-

сок шалаш, который окошком и дверью выходил к овчарне, а заднею стеною примыкал к большому саду, огороженному со всех сторон высоким дубовым частоколом. Вход в шалаш был только один, — обстоятельство очень невыгодное, в случае нечаянного нападения. Но Пико никогда не показывал ни недоверчивости, ни сомнения, ни страха, и велел приготовить себе в углу постель. В одно мгновение двое из его людей набросали одни на другие звериных шкур, и постель была готова. Наступила ночь. Пико расставил в разных местах часовых, объехал в авангарде и в арьергарде самые опасные пункты и вернулся к шалашу. Там он привязал близ дверей свою оседланную лошадь, завесил шкурой то, что было дверью, и вынув свой огромный нож, прорезал в стене такое большое отверстие, что в случае нападения из двери, он легко мог бы пролезть в него ползком и очутиться в саду. Обеспечив себе отступление, он снял свои шпоры, перекрестился и лег, завернувшись в плащ. Его верная собака, Неприятель, свернулась у него в ногах и улеглась. Никаких других телохранителей Пико никогда не терпел.

Знаете ли вы истоки Биобио и впадающих в нее Лаха, Дукеко и Вергару? Если вы не знаете их, то мне жаль вас. Там рай. И в самом деле в раю, вероятно, была тоже девственная, нетронутая цивилизацией природа, реки, леса, озера, холмы, водопады, птицы, звери, цветы, природа благоухающая и гармоническая во всех своих проявлениях.

Обширный край, омываемый этими реками, был в продолжении трех веков театром борьбы между Арауканами и теми, кто старался их покорить. Напрасные усилия! Арауканы и их могучая природа остались как бы нетронутыми. Только ряд крепостей, опоясывавший тот край, оставил страну в грозном и величественном уединении.

В то время, о котором идет речь, все эти крепости разваливались, потому что каждая была десять раз взята приступом, переходя из рук в руки между воюющими сторонами. В конце борьбы за независимость, дикари и разбойники, бродившие в долинах, беспрестанно нападали на эти остатки укреплений, защищаемые Чилийцами.

2-го сентября 1824 года самая дальняя из этих крепостей, Начимиенто, была занята отрядом Люиса Залазара, отличавшегося в этой борьбе. Залазар, как и все, служившие под его начальством, родился в этой самой крепости, что избавляло всякого от поверки, был ли он храбр, или нет. Крепость Начимиенто была знаменитым гнездом, из которого вышло множество орлов на защиту отечества.

Только что светало. Залазар, стоя на восточном валу своей крепости, задумчиво смотрел на противоположные берега Биобио и Вергары, которые сливаются в этом месте. Вдруг возле него прегромко зевнул часовой.

— Ну, что, какова была ночь, Коронадо? — спросил его Залазар.

— Да, что, почти такая же, как всегда: смерть как холодно, и все было так спокойно, что даже скука пронимает: хоть бы Испанца какого-нибудь Бог послал, погреться немножко, да и душу отвести.

— Потерпи немножко! Вот, они скоро нагрянут на нас...

— Да, пожалуй, если мы на них не нагрянем.



— Они в Квилапало стоят уж третий день; Синиаго был тут и сказывал.

— Синиаго?... Это тот, что года два назад перебежал к неприятелю, когда увели наших лошадей в Сан-Карлосе.

— Тот самый.

Часовой с недоверчивостью покачал головой. Залазар продолжал:

— Если он правду говорит, то этот разбойник Пико собирается не в шутку на нас напасть. У него больше четырехсот человек, Испанцев и Индейцев. А нас всего тридцать два человека, и помощи ждать не от кого.

— Это точно, что нас немного... — сказал часовой и стал задумчиво копать землю своею обнаженною саблей.

Потом, помолчав немного, Коронадо стал вдруг беспокоен, и с гордостью поднял голову. В глазах его горела необузданная отвага и ненависть; лицо налилось кровью, и верхняя губа, едва опущенная только что пробившимися усами, судорожно дрожала.

— Дон Залазар! — вскричал в исступлении часовой, — пора этому зверю погибнуть!

— Кому это?

— Испанцу Пико. Да, клянусь жизнью моей матери, я докажу этому разбойнику, что одной жизни довольно, чтобы с ним справиться! Либо он, либо я должен погибнуть, если только мы не пропадем оба, что, впрочем, для меня все равно.

— С ума ты сошел, Коронадо?

— Положим, что так. Вот видите ли: если я его не убью, так я все равно умру от злости и бешенства. Нет, я должен, непременно должен отрезать ему голову, а то и мне не жить на свете.

— Да как же ты это сделаешь, дикарь?

— Я просто пойду туда, к нему. Неужели ж между мною и Пико целый океан, что я не достану его своим кинжалом?

— Хорошо, пойдешь. Но прежде, чем ты до него доберешься, триста копий взбросят на воздух твой труп, как пылинку; лучше бы тебе...

— Дон Залазар! Если вы не дадите мне четырех надежных товарищей, так я брошусь вот отсюда прямо в ров: умру, как дурак, если уже вы не хотите дать мне умереть молод-

цом.

— Ну, хорошо, хорошо; я тебя знаю, ты из храбрецов храбрец. Но, дитя ты мое! Скажи мне, как ты хочешь распорядиться?

— Я ничего не знаю; у меня одна только мысль — убить этого врага отечества. А как это будет?.. Скажите, дон Залазар, вы думаете, что Синиаго в самом деле к нам перебежал, когда он недавно только передался от нас? Пусть меня привяжут к дереву и вымажут медом[26], если Синиаго не пришел к нам просто шпионом. Во всяком случае надо его употребить в дело. Пойду я и скажу Синиаго, что хочу убить Пико там, где он есть, и что мне нужны его советы, как тут быть, чтобы дело пошло удачнее: пропаду я, или нет, это в счет не пойдет, а вот если мне не удастся, если этот заколдованный Испанец увернется от моего кинжала, то четыре пули товарищей отправят этого приятеля Синиаго дезертиром в ад. Поверьте, что с таким уговором он даст мне самые, лучшие наставления. Когда я узнаю от него все, что мне нужно, отправлюсь я с четверыми товарищами в Квилапало. Там я знаю все места так же хорошо, как

свой карман, как сабля знает свои ножны, и если кому-нибудь придется умереть, то уж конечно не товарищам, которых я прошу.

— Ну, делать нечего, с Богом! — сказал с глубоким вздохом Залазар.

Прощаясь с юным воином и с его товарищами, как отец прощается с детьми на вечную разлуку, Залазар плакал.

При захождении солнца подъемный мост крепости дрожал под пятью всадниками, которые потом взяли влево на Вергару. Переправившись через реку на пароме, они повернули в горы Негреты и пропали из глаз остальных защитников крепости, собравшихся на валу.

### III

Несколько раньше полуночи с 3 на 4 сентября, в двух выстрелах от лагеря Пико, четыре человека сидели неподвижно, притаившись в частом кустарнике. В лагере было совершенно тихо: отряд получил предписание завтра с рассветом выступить в поход и отдыхом приготавливался к трудам. Сам Пико спал крепким сном, как вдруг разбудил его громкий лай его Неприятеля. Он вскочил и схва-

тился за оружие. Долго он сидел, прислушиваясь, но не слышал никакого подозрительного шума; однако собака продолжала сердито ворчать и изредка лаять по направлению к саду.

— Это, должно быть, какой-нибудь разбойник Индеец подбирается потихоньку к моему коню, — сказал Пико, выходя из шалаша.

Через минуту он вошел назад, дрожа от холоду.

— Ну, смотри, — вскричал он, обращаясь к собаке, — если еще раз ты поднимешь фальшивую тревогу, то я тебя удавлю своими руками.

Потом он прибавил дров в огонь, посушил свои измокшие ноги и уже собирался опять лечь, как Неприятель снова залаял с большим бешенством, как будто опасность приблизилась. Пико ударил ее в бок ногой, так что собака откатилась до самого костра; тогда она поняла, что ее совета не спрашивают, свернулась на земле клубком и заснула так же крепко, как ее хозяин.

Дрова, прибавленные в огонь, почти уже сторели, так что в шалаше был только слабый

свет от тлеющих угольев. Человек с непокрытой головой, почти без одежды, с голыми ногами, поднял шкуру, висевшую в дверях, и без малейшего шума, так тихо, как муравей, вполз в шалаш. Собака с воем кинулась на смельчака; но быстрый взмах широкого кинжала мгновенно пригвоздил ее поперек тела к земле. В тоже мгновение Пико и Коронадо боролись на смерть: один старался схватить свое оружие, другой частыми ударами кинжала полосовал его тело, где было удобнее. Недолго продолжалась неровная борьба; последний сборный крик Пико замер под острым железом.

Весь отряд, разбуженный криками, воплями и стонами, был уже на ногах. Вдруг на левом фланге послышались выстрелы, и это еще довело беспорядок до последней крайности: всякий думал, что отряд окружен неприятелем, иные бросились к шалашу Пико, другие в лес, чтобы там собраться с духом.

В это время Коронадо, держа за волосы окровавленную голову Пико, шел мимо овчарни между несколькими десятками гверилеров. Ошеломленные дерзостью Коронадо и

нечаянностью, уверенные сверх того в том, что неприятели окружили их становище, они не тронули бесстрашного воина; а между тем товарищи его все стреляли один за другим, ближе и ближе. В неопisanном смятении весь отряд кинулся в лес, а Коронадо к товарищам.

Они так были испуганы своим предприятием, так озадачены удачей, что потом скакали назад в Начимиенто и не спрашивали Коронадо, в самом ли деле на седле у него висит голова страшного Пико.



# XVI

## СТЕФАН ЖИРАРД

Вы не были в Америке, и не ездили по железным дорогам Соединенных Штатов? — Я имел это удовольствие. — Боже, как я мучился! — Каким странным и пронзительным, как сквозной ветер, холодом обдавал меня холод сухого расчета, пользы и необходимости, которыми там дышит все, что доступно уху и глазу. В залах на станциях, в вагонах — никакой роскоши, ничего, что тешит нас новизною и разнообразием по дорогам Европы — промышленной, торговой, но все таки улыбающейся.

Все просто и бедно: богатый негоциант сидит на такой же неудобной и жесткой скамейке, как, бедняк-переселенец, которому карман не позволил бы взять более роскошного места, если бы оно и имелось. Только бедняк, заброшенный случаем в эту расчетливую сторону, я думаю, с горечью вспоминает и уютные места веселых европейских дорог и приветливые лица говорливых путешествен-



ников, если только ему знакомы не одни железные дороги скучной Великобритании — а богач Американец не думает о таких вздорах. Весь углубившись в пучину миллионов, он считает будущие барыши.

Тишина в американских вагонах невозмутимая, и давит грудь какою-то мертвизною. Пассажиры все чем-то озабочены — и только: больше ничего не прочтешь на их лицах. И заговорить с ними не хочется. Не оттого, что, как в Англии, пожалуй, не получишь ответа; а оттого, что с Американцем только и можно говорить, что о величии Америки, о превосходстве ее над всеми странами мира. — Предвидя, что Европа могла бы перед Америкой похвастаться своей Историей, Американцы заменили дела — названиями; по всему странству своей земли разбросали исторические имена, которыми забрасывают вас при всяком удобном случае.

У Франции есть Орлеан — родина девы спасительницы отчизны — у Американцев есть Новый Орлеан! — и Орлеан теперь уж не во Франции — в Соединенных Штатах и американский гораздо лучше французского!

У них есть Новый Мадрид, есть Петербург. — Исторические имена у них в большой моде.

Сидишь и молчишь.

Даже женщины, везде в ласковой Европе оживляющие все, не только своим живым лепетом, но и своим молчаливым присутствием, здесь никого и ничего не оживляют, как будто огорченные всеобщим равнодушием и невниманием. Правда, им оказывается уважение: никто не осмелится и не вздумает оспаривать у женщины место, которое она выбрала; напротив, ей оставят лучшее место; никто не сядет за стол раньше ее, и никто не посмеет поторопить ее выбрать место; всякая женщина, как бы ни была она молода и неопытна, может отправиться в какое угодно далекое путешествие, в полной надежде, что никто и ничто не оскорбит ее присутствия. Но все это выражается так сухо, как будто ее никто не замечает.

Все сухо, все мертво. Даже быстрота поезда недостаточно сильна, для того, чтобы увлечь скучающего, недовольного путешественника.

Останавливаются в дороге довольно часто. Но на станциях все совершается с обычной молчаливостью. Вино пьют серьезно, как микстуру; обед глотают наскоро — по необходимости, чтобы, удовлетворивши желудку, опять забраться в вагон, на старое место, и погрузиться снова в никому неведомые думы.

Станции просты, однообразны и скучны. Впрочем на них есть маленькое развлечение для путешественника: надо беспрестанно быть настороже за своими вещами, потому что на всех станциях вывешено предостережение, что никто за целость пассажирских вещей не отвечает.

Отсутствие полиции здесь изумительно. Никто не наблюдает за порядком. Чемоданы отдаются тому, кто первый их потребует. Такое доверие имеет американское правительство к своим гражданам. Это могло бы заставить думать, что граждане Соединенных Штатов так честны и образованы, что не нуждаются в строгом присмотре, если бы опыт не доказывал беспрестанно противного. Нигде обман не успел так ловко обратиться в ремесло, как в Америке. Да мало того, что там без-

дна бродячих воров, там очень часто люди, исправляющие какую-нибудь порядочную должность, употребляют во зло доверие, которым они пользуются. Кассир на станции мне дал один раз на всю дорогу билет, с которым я мог проехать только половину ее.

Вот развлечение для путешественника!

Природа, виды могли бы занимать пассажиров: но Американцы и ими не занимаются. — Все отброшено, все забыто, что не дает барыша! — Конечно, есть и там люди с теплым, поэтическим сердцем; но таково общее впечатление. К тому же это мои собственные замечания: может быть, другому, любителю серьезной промышленности, это представится совершенно иначе.

Города — нет ничего однообразнее американских городов. Все они построены по одному плану, все они похожи на Нью-Йорк, везде один и тот же характер угрюмой торговли и серьезной промышленности. Въезжаете в город — гостиница, магазины; дальше — почтовый дом; еще дальше — дома обывателей; там — банк; а, дальше — несколько церквей для всех расколов, которым в Америке числа

нет.

Все носит на себе жесткий отпечаток характера тех холодных, положительных людей, которые были брошены на эту почву, принялись на ней, окрепли, разрослись — и выдались своим материальным могуществом из рядов трудолюбивых, предприимчивых, но менее удачливых сограждан.

Об одном из таких людей, о Стефане Жирарде, думал я, катясь по железной дороге из Буфало в Альбони. К этой истории очень подходили озабоченные, безжизненные лица моих спутников; и вся жизнь Жирарда спокойно и последовательно проходила в моем воображении.

Француз, с веселых, смеющихся берегов цветущей Жиронды, двенадцатилетний мечтатель, искатель приключений, полный несбыточных снов, он бежит из-под родимой кровли, с котомкой за спиною.

Ночь. Мрак необъятно раскинулся над спящею землею; в нем плывет месяц спокойно и ровно, и смотрит равнодушно-прекрасным взором на прекрасную, и во сне грациозную землю. Золотистые звезды переглядываются,

дивясь заснувшей земле, и переглядываясь, украдкой устремляют на нее трепетные взгляды. Воздух тих и чутко прислушивается к дыханию спящей. Грозды винограда не шелохнут. Притаились липы, облитые белым отливом серебристого месяца, и бросают по белеющему пути силуэты теней. — Вот, запах розы растворился в запахе лимона, и входит в грудь, и щекочет ее, беспокойную, и веет в лицо непостижимою прелестью. — То дышит земля. И кажется, видишь, как она поднимает грудь свою для душистого дыхания.

Чего тебе надо, Жирард! — Хватит ли в тебе силы и жизни, чтобы выпить, чтобы перенести все это наслаждение? — Брось, растопчи свою жалкую котомку! Что в ней? — Жизнь — в призраках, жизнь — в снах благородной души, души, не знакомой угрызению. Очисти свою душу любовью к добру, и целуй прекрасную землю! — Что ж ты бежишь со своей ношей, не остановишься? — Жалка твоя жизнь, если суждено ей развиться и разрастись из твоей котомки: я знаю, что там — там нет книг, там нет цветов; там платье, там кошелек с деньгами.

Не смотри на него, месяц, не смотрите на него, звезды! Не рисуйте на земле тени его своими трепетными лучами! — Он слеп для вашего доброго взора; он глух для вашего тихого лепета.

Не плачь о нем, мать! Он не поймет слез твоих, он насмеется над ними! Не прочтет в них любви, не почует, как перевернулась в твоём старом, слабом, уставшем теле твоя любящая душа, если и месяц, и звезды, и небо не пробились в его молодую грудь, не заставили его с тоской оглянуться туда, где — все, что его любит и жалеет.

Жиранд без оглядки убежал из родного дома. На один корабль его приняли мальчиком в прислужники, и неизвестно, сколько времени он оставался в этом непочетном звании, только знают, что в 1775 году он приехал в Нью-Йорк уж в должности начальника корабельной команды.

Тут он стал пытаться свое счастье. Принимался за то, принимался за другое, работая тихо, без шума как муравей, и как муравей, нося по зерну в основание своих будущих капиталов.

Время есть уже деньги, сказал Франклин, другой гений молодой Америки. Жирард это понял, и не упустил даром ни одной минуты.

В Нью-Джерси принялся он делать сигары, пользуясь даровыми уроками, полученными им на островах Вест-Индии, но это, вероятно, показалось ему путем слишком медленным к достижению капиталов. Он отправился в Филадельфию. Отсюда, с разными безделушками поднимался он на судах по берегам Делавара и променивал их у колонистов на местные произведения. — И это ему показалось невыгодным.

В маленьком балагане, на базаре, он стал торговать канатами и старым железом.

И вот, суетится он в своей грязной лавочке; собирает гроши, считает, да пересчитывает, сколько надо собрать их завтра. Нищий просит у него куска хлеба; Жирарду и хотелось бы дать, и он дал бы, и дал бы непременно, если бы услужливый ум не шепнул ему оправдания. Да его ли ум не шепнет ему тысячи причин, по которым даже преступно подать нищему кусок хлеба!

«Лентяи, чужееды! — бормочет про себя



Жиранд, — губят дорогое время, унижаются, просят у других, которые потом и кровью достають копейку! Теперь они просят, а ты приучи их даром есть хлеб твой — им это понравится — и после они станут красть у тебя, или отнимут насильно». — Проваливай, старик! — кричит он раздраживши искусственным доказательством свое сердце до гнева. — И рад он, что отделался и от докучливого нищего, и от страшного голоса самой природы: «помоги ему: он брат твой».

Но сердце не так легко успокоить: оно прямо; оно еще шепчет укор за равнодушие; оно еще болезненно сжимается — и Жиранд мечтает о золотых горах, чтобы заглушить угрюмый голос сердца.

Страшно подумать, как систематически, как искусно иногда человек убивает свои лучшие чувства, свои лучшие движения. Что самоубийство перед этой безжалостной, отвратительно безжалостной и гнусной пыткой над благородным духом, лучшим даром Создателя этого чудного мира? Зачем тебе золото, Жиранд? — Сумеешь ли ты насладиться им, если блеск неба и шушуканье деревьев,

по которым разбрызгано золото солнца, не шевелит души твоей! Что даст тебе жизнь, если песня, которую заводит вечерний ветерок в скважинах прибрежного тростника, не манит тебя к берегу, не заставляет тебя сладко задуматься!

Но Жирард об этом не думал. Начавши убивать свою душу, трудно остановиться, и страшно оглянуться назад: легче, закрывши глаза, довершить преступление. — Пусть себе блеснит небо, пусть цветут и пестреют луга — ничто не оторвет добровольного торговца от милой ему выручки; так как, наоборот, поэту, птичке, залетевшей на Север,

*Пускай ревет, бушует вьюга —  
Блестя лазоревым крылом  
Она поет лишь об одном:  
Она поет о солнце юга.*

В 1812 году, Жирард открыл банк, основным капиталом которого положил два миллиона серебром. А через год, когда правительство Соединенных Штатов хотело сделать заем в шесть с половиною миллионов рублей серебром, Жирард дал правительству эти шесть с половиною миллионов.

И вот он в славе.

В Америке его имя произносится с изумлением, часто переходящим в подобострастное уважение. Все торговые компании, в которых он участвует, гордятся, заключая в своей фирме имя Жирарда. По синему морю белеют и шумят паруса его кораблей — и выходит он на берег с подозрной трубкой, и наводит ее в даль, и хмурится в усилиях разглядеть его ли это корабли, и сколько их. И не видит, что паруса, то белеют, как полногрудые чайки, то с негой и ленью расширяя свои длинные крылья и плывя на них, то трепеща ими сверкают в лучах вечно мирного солнца.

Разводит Жирард сады — в них плоды, лучшие в Америке. Но не для него их роскошь, их свежесть и аромат: они укладываются в корзины и отвозятся его кораблями за море. И не было у него друга, перед которым он мог бы хот похвастать тем что у него есть. Все Жирард берет для себя, далее сознание своего богатства. И как крот носит без усталости в свою нору запас на зиму, больше, чем сколько нужно, Жирард, не спрашивая себя — для чего, все торопился нажать рубль на рубль, все бо-

ялся прикоснуться к своему кошельку раньше времени.

Вот, выходит он вечером в сад. Медным полукругом выглядывает заходящее солнце, потопляя острые верхушки деревьев в розовом свете своих последних лучей. Стыдливо прячется румяное яблоко под темно-зеленым листом родимой ветки. Там, сквозь темную зелень деревьев, глядит, не утомляя человеческого глаза, спокойная синева далекого неба. Цветы опустили утомленные днем головки свои и, полные неги, дышат ароматом в своей грациозной усталости. А там, в небе, с другой стороны, остановилась перед солнцем двурогая луна, глядя застенчиво-скромным взглядом на прекрасное солнце.

Жиранд идет по саду. Он в духе. Он глядит и на небо, и на зелень.

— Если бы завтра ветерок, — думает он, — корабли могли бы отправиться.

И фантазируя на эту тему, подходит к краю сада. Вдруг слышит он живой и чистый и звонкий, как песня синички, голосок дитяти: «Бетси, душечка, не веди меня домой! Здесь так хорошо, весело так. Мне еще хочется по-

бегать».

Должно быть, сестре дитяти, Бетси, самой не хотелось еще идти домой; потому что на умоляющий голосок ребенка она только потрепала его по щечке и поцеловала. — И слышно было, как покатился обруч под ударами палочки, сопровождавшими шлепанье детских ножек, которое звучно раздавалось по сухой аллее вечно молчаливого и дикого в своем молчании сада.

Жиранд готов уже насупиться: в самом деле, детей напустили в сад — переломают сучья! Сорвут какой-нибудь цветок!.. Но вдруг сквозь листву увидел скупой голову Бетси. Девушка, лет шестнадцати стояла спокойно и твердо, задумчиво подперши двумя узенькими пальчиками слегка оттененную румянцем щеку.

Ее большие голубые глаза, с крупными чернеющимися зрачками, как-то открыто и рассеянно глядели из-под густых, каштановых ресниц, вдаль, туда, куда солнце заходит. Бог ее знает, о чем она думала: может, рисовала она себе тот край, где теперь утро, и казалось ей, что там люди добрее и лучше; что

там люди любят друг друга больше, чем деньги; что там попросить их о чем-нибудь, в нужде, можно спокойнее и приятнее, оттого что они исполняют все с радостью; думала, может быть, она, что сладко открывать другой душе свои печали, свои радости и надежды, и грезы. — И личико девушки становилось все грустнее и грустнее. Но ее чистой душе было сладко грустить, потому что в мечтах благородного сердца о лучшем, в самом недовольстве его окружающею жизнью таится, в утешение ему целый мир наслаждения. И когда из-за дальних кустов все яснее и громче раздавались удары палочки о кольцо, за которым, смеясь и прыгая, запыхавшись, бежала белокурая девочка, встряхивая свои золотистые кудри, Бетси не замечала ее приближения: она вся была безотчетно погружена в свои грустные думы.

«Можно еще побегать, Бетси?» — спрашивала прерывающимся от усталости голоском девочка, но Бетси не слыхала этого вопроса. Она рассеянно приглаживала кудрявую голову своей сестры, и та опять пускалась во всю прыть, за обручем, по ровной дорожке, нако-

нец исчезла за кустами.

И Жирард засмотрелся.

Он даже инстинктивно, туманно понял, о чем думала, чем наслаждалась Бетси, глядя на заходящее солнце. Его грудь наполнилась каким-то томительным ожиданием, непонятным, как музыка, но и сладким как музыка.

И если бы Бетси вдруг кликнула сестру свою и ушла домой, Жирарду, может быть, стало бы жаль, что она так ненадолго оживила его угрюмый сад; но девушка неподвижно оставалась на своем месте — и душа Жирарда, беспокойная в своей предприимчивой матерьяльности, не вынесла такого долгого прилива однообразия предметов, чуждых его холодной душе.

Ему стало смешно и досадно.

— Не понимаю, не понимаю, решительно не понимаю, — ворчал он сквозь зубы, пожимая плечами, и удаляясь от Бетси, — сколько часов она стоит, о чем она думает? Вот люди: тратят дорогое время, да потом и плачутся, что никто им помочь не хочет!

И он совершенно рассердился. Чтобы вылить на кого-нибудь свое неудовольствие,

принялся он бранить попавшегося Негра.

Плывет двурогий месяц по гладкому небу; легкий ветерок шепчется с темной листвою, качая головки цветков и вея душистою влагою и в сухие, бесслезные очи Жирарда, и в потухшие от слез очи Негра; и идет несчастный, и мурлычет себе, да спокойному небу, горючие жалобы на горемычное свое житье-бытье.

Войдя в кабинет свой, Жирард задумался. Он испугался, что может засматриваться не на одно золото, но уж не мог отделаться от принятого впечатления. Мало-помалу, раздуывая обо всей своей жизни, с душою, подготовленною ко всему прекрасному, он дошел до мысли, что если так, то он жил совершенно напрасно. — «А сладко, я думаю, оставить все, что ни приобрел в жизни трудом и лишениями, тому, кто поддержит твою слабую голову, когда она приподнимется в предсмертных движениях; тому, кто с слезой сожаления закроет твои потухшие очи; тому, в чьей груди лишь тобою билось любящее сердце. Никто тебя не пожалеет, никто не уронит на твою холодную могилу горячей слезы. Торо-



пись, старик, — прошептал он после долгого раздумья, заметно обрадовавшись счастливой мысли, — еще есть время — наполни все, что можешь, если не делами, так приказаниями. Пусть и твое имя переживет тебя».

И севши к столу, он поправил лампу и стал писать:

«Я, Стефан Жирард, в совершенном здоровье, и не собираясь еще умереть, значит, в полном спокойствии и ясной памяти, делаю следующее завещание.

Я сам приобрел себе богатство — пусть и мои родственники делают то же, как им вздумается; я же, со своей стороны, желаю им полного успеха.

Двум моим племянницам оставляю я по двадцати пяти тысяч серебром, с тем, что до их совершеннолетия деньги эти будут храниться в банке, обеспеченном надежным основанием.

Часть моих владений, которой следует расписание, остается в пользу города Филадельфии, в котором я провел почти всю свою жизнь, — с тем однако же, чтобы в продолжение десяти лет, земли мои были приведены в

совершенное благоустройство: — тогда только город может пользоваться доходами с этих владений.

Каждому капитану корабля, сделавшему для меня не менее двух путешествий, выдать по две тысячи рублей серебром. Тем же, которые прибудут сюда после моей смерти, выдать по стольку же в таком случае, когда, по точным справкам, окажется, что все сделанные им покойником поручения они исполнили добросовестно.

Всем благотворительным заведениям, которые помянуты в приложенной к этой статье описи, выдать, сколько им в ней же назначено.

Всю остальную часть своего именина назначаю я на устройство практической школы для трехсот бедных сирот.

Школа эта должна называться моим именем.

Выстроена она будет за городом, на земле, которую я ей оставляю.

Содержаться она будет на проценты с пятнадцати миллионов, которые поступают на имя этой школы теперь же в банк, основан-

ный мною.

Метода преподавания должна быть исключительно практическая.

Мертвым языкам, которые я считаю ненужною роскошью, не учить. Заниматься тем, что в жизни пригодится чаще и прямее.

Я хочу, чтобы из моей школы выходили честные и опытные купцы, искусные промышленники и земледельцы.

Выбирать учителей, которые умели бы внушить детям самые чистые и простые правила благородства, чувство любви и покровительство к ближним, — которые умели бы расшевелить в молодом сердце любовь к добру, к истине, к умеренности и к труду, дельными и понятными разговорами, не отягчая попусту молодых голов заучиванием книжной мудрости».

Кончивши свое завещание, Жирард потянулся в креслах, опустил на мягкую и высокую спинку их, и в первый, может быть, раз предался неге мечты: ему представлялась эта практическая школа с толпою резвых, беспечных детей; ему слышалось здесь и там повторяющееся его имя; потом ему представлялись

мастерские ремесленников, выучившихся в его школе, богатые конторы других его воспитанников — ему было сладко: и на его долю выпало наслаждение!

И как бы то ни было, хотя он, собирая свои богатства, и не думал о том, чтобы когда-нибудь принести их в дань потомству, дань эта все-таки принесена — и имя Стефана Жирарда должно повториться в истории человечества: он жил не даром, хотя это случилось совершенно неожиданно.

Я видел его практическую школу. Она построена роскошно, по плану, им самим предположенному: посреди огромного сада стоит, как храм, мраморный дворец; вся лестница из мрамора; паркетные полы, внутри дома, устланы коврами; вся мебель в школе из красного дерева; кафедры покрыты сукном. Под великолепным портиком стоит статуя Жирарда, перед которой водивший меня по школе молодой человек склонился с самым благородным уважением.

Может быть, и это предчувствовал Жирард, сидя в креслах, и с улыбкой перечитывая свое завещание. Должно быть, ему было

очень приятно, так приятно, что душа его приобрела даже несколько прежней гибкости, потому что в том месте, где запрещалось совершенно преподавание мертвых языков в его школе, он с чрезвычайно доброй и стариновски-плутоватой, улыбкой приписал:

«Но детей, имеющих к изучению этих языков особенное призвание, следует учить им».

Мне было весело припоминать завещание Жирарда, и я не заметил, как прикатил к тому месту, где нужно было пересечь на один из пароходов, ежедневно спускающихся по Гудзону к Нью-Йорку.

Небо было чисто; воздух спокоен и влажен. Луна сзади освещала струйки реки, по которым темнела длинную полосою морщина, оставленная на реке бегом нашего парохода. С обеих сторон, в сумраке ночи, как клубы дыма, чуть виднелись безмолвные берега. Никакого звука не слышно было вокруг, кроме мерных ударов паровой машины; никакого света не было видно, кроме серебристого отлива луны, да золотых искр, что, как перья на шлеме, раздувались над трубой нашего парохода, блестя, взвиваясь и исчезая, как паду-

чие звездочки.

И смотрел я, задумавшись, на широкую реку, которая и теперь еще казалась дика; и мне чудилось, что я вижу ее в то время, когда впервые пускались по ней предприимчивые Европейцы на своих послушных лодках; в то время, когда еще человек не поколебал девственного величия дикости ее берегов.

*КОНЕЦ*



# Примечания



Все, что тут говорится о лезвии сабли, о виде нелюбимого человека и об избежании этой муки — вовсе не вяжется с предыдущим, — какая-то ненужная приставка. У Саади часто попадаются такие нравственные изречения, которые нейдут к делу.

[^^^]

Все лишние прибавки и вставки этого рассказа с намерением оставлены, потому что без них нельзя составить себе ясного понятия о Саади и его Гюлистане.

[^^^]

# 3

Это говорит мусульманин.

[^^^]

## 4

Чистилищем, по учению католической западной церкви называется место, где будто бы грешники страдают для того, чтобы очиститься и просветленными перейти в рай.

[^^^]

# 5

31 фут ширины и 15 ½ футов вышины.

[^^^]

# 6

Город в нынешней Бельгии, Liège.

[^^^]

Паллада или Минерва, или Атэна, или Афина — языческая богиня мудрости, искусств и войны. Она изображалась со щитом в руке, а на нем — голова Медузы, с змеями вместо волос. Грудь ее была защищена эгидой из чешуи чудовища, от которого она избавила Ливию. Возле нее изображалась сова, эмблема мудрости, и разные математические инструменты. Эгидой несправедливо называется щит Минервы.

[^^^]

## 8

Здесь игра слов *Shakscene* значит прислужник при сцене, буквально: потрясающий декорациями; *Shakspeare* значит потрясающий копьем, боец.

[^^^]



Авраамия Палицына «Сказание о Осаде Троицкого Сергиева Монастыря». Изд. второе, 1822. Москва. Стр. 38.

[^^^]

Сказание Палицына, стр. 68, 69.

[^^^]

Сказание Палицына, стр. 81, 82.

[^^^]

# 12

Падение звезд в эту ночь замечается и до сих пор. В целом году необыкновенно велико число падающих звезд около 8 февраля, 2 мая, 10 августа и 8 ноября, по новому стилю. Особенно обильный дождь падающих звезд замечен в Соединенных Штатах, на 12 ноября 1833 г.

[^^^]

Полн. Собр. Зак. Рос. Имп. Т. IV, ст. 1811.

[^^^]

Граната — чугунный шар, набитый порохом, с светильней выходящей наружу; этот снаряд сначала зажигают и потом бросают в неприятелей; тут уже гранату разрывает вспыхнувший порох.

[^^^]

Полн. С. З. Р. И. Т. IV. ст. 1931.— Мая 10, 1703 года.

[^^^]

Полн. Соб. 3. Р. И. Т. IV ст. 2062.

[^^^]



Полн. Собр. 3. Р. И. Т. IV. ст. 2282.

[^^^]

Там же — ст. 2284.

[^^^]

Там же — ст. 2289.

[^^^]

Там же ст. 2539. Кроме приведенных выше указов, в Полном Собрании Законов Российской Империи заключается еще двадцать различных указов Петра, касающихся до устройства Петербурга.

[^^^]

Полн. Собр. 3. Р. И. Т. V. ст. 3230.

[^^^]

Полн. Собр. 3. Р. И. Т. VII. Указ 20 Мая 1727 года, ст. 5076.

[^^^]

Полн. Собр. 3. Р. И. Т. VII, ст. 5129.

[^^^]

Все, означенное знаком \* — выписано из Пушкина.

[^^^]



Знаки \*\* обозначают места, переведенные Пушкиным из Записок Джона Теннера.

[^^^]

Этот способ казни употреблялся в Чили во время испанского владычества.

[^^^]